

11111

Annotation

Вдохновленные Провансом "Письма с моей мельницы" — одно из самых оригинальных и известных его произведений.

- [Альфонс Доде](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Водворение](#)
 - [Бокерский дилижанс](#)
 - [Тайна деда Корниля](#)
 - [Козочка господина Сегена](#)
 - [Звезды](#)
 - [Арлезианка](#)
 - [Папский мул](#)
 - [Сангинерский маяк](#)
 - [Гибель «Резвого»](#)
 - [Таможенники](#)
 - [Кюкюньянский кюре](#)
 - [Старики](#)
 - [Баллады в прозе](#)
 - [1. Смерть дофина](#)
 - [2. Супрефект на лоне природы](#)
 - [Портфель карикатуриста Биксиу](#)
 - [Легенда о человеке с золотым мозгом](#)
 - [Поэт Мистраль](#)
 - [Три малые обедни](#)
 - [Апельсины](#)
 - [Два постоянных двора](#)
 - [Саранча](#)
 - [Эликсир его преподобия отца Гоше](#)
 - [В Камарге\[37\]](#)
 - [Тоска по казарме](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке](#)

[BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Альфонс Доде

Письма с мельницы

Предисловие

«В присутствии мэтра Онора Грапази, нотариуса города Памперигуста, г-н Гаспар Митифьо, супруг Виветты Корниль, фермер из местечка, именуемого Сигальер, там же и проживающий, настоящим продал и передал во владение юридическое и фактическое свободную от всяческих долгов, платежей и ипотек г-ну Альфонсу Доде, поэту, жительствовавшему в Париже, при сем присутствующему и на то согласному, ветряную мукомольную мельницу, находящуюся в долине Роны, в самом сердце Прованса, на склоне холма, поросшего сосной и вечнозеленым дубом, каковая мельница, будучи уже более двадцати лет заброшена, непригодна к работе, как это явствует из того, что дикий виноград, мох, розмарин и прочие сорные травы обвивают ее до самых крыльев.

Невзирая на это, г-н Доде заявляет, что означенная мельница, какова она есть, с поломанным колесом и кирпичной площадкой, поросшей травой, ему подходит и пригодна для занятий поэзией, посему он и покупает оную на свой страх и риск и обязуется не искать с бывшего владельца расходов, кои могут потребоваться на ремонт.

Означенная продажа совершена оптом, по ранее установленной цене, каковую сумму наличными по настоящему курсу г-н Доде, поэт, выложил на конторку и каковую г-н Митифьо получил сполна в присутствии нижеподписавшихся нотариуса и свидетелей, что и удостоверяется.

Купчая совершена в Памперигусте в нотариальной конторе Онора, в присутствии Франсе Мамай, флейтиста, и Луизе, по прозванию Ле Кик, хоругвеносца белых кающихся братьев.

Каковые по прочтении и подписались, совместно с обеими сторонами и нотариусом».

Водворение

Кто был удивлен, так это кролики!.. Уже так давно дверь мельницы была на запоре, стены и площадка поросли травой, вот в конце концов они и решили, что порода мельников перевелась, и, сочтя место для себя подходящим, устроили здесь как бы штаб-квартиру, центр стратегических операций: кроличий Жемап...^[1] В ночь моего приезда штук двадцать кроликов, говорю без преувеличения, уселись в кружок на площадке и грели лапки в лучах лунного света... Не успел я приоткрыть оконце — к-ш-ш! — весь бивак бросился врассыпную, и беленькие спинки с задранными хвостиками замелькали в чаще. Будем надеяться, что кролики вернуться!

А еще очень удивился при виде меня жилец второго этажа, старый, мрачный филин, похожий на мыслителя, поселившийся на мельнице лет двадцать тому назад. Я набрел на него в верхнем помещении, где он неподвижно сидел на вале среди щебня и обвалившейся черепицы. На минуту он воззрился на меня своим круглым глазом, потом, при виде незнакомого человека, с перепугу заухал: «У-у-у!», — и тяжело захлопал крыльями, серыми от пыли. Ох, уж эти мыслители! Никогда-то они не почистятся... Ну, да все равно. Каков ни на есть, а все же этот молчаливый жилец мне больше по вкусу, чем кто-либо другой, хоть он и насупился и беспрестанно мигает, и я поспешил возобновить с ним контракт. Он по-прежнему оставил за собой весь верх со входом через крышу, себе же я взял нижнюю комнату, маленькую комнатку, выбеленную, низкую и сводчатую, — ни дать ни взять монастырская трапезная.



Оттуда я вам и пишу — дверь распахнута настежь, солнце сияет.

У меня перед глазами чудесный искрящийся на солнце сосновый лес сбегает по склону до самого низа холма. На горизонте вырисовывается тонкий гребень предгорий Альп... Тишина... Порой чуть доносятся звуки свирели, кулик кричит в лаванде, мул звенит бубенцом на дороге... Весь этот чудесный провансальский пейзаж залит светом.

Так как же после этого, скажите на милость, я могу жалеть о вашем Париже, шумном и хмуром? Мне так хорошо у себя на мельнице! Я нашел тот уголок, который искал, уютный, благоуханный и жаркий, за тысячу миль от газет, фиакров, тумана... И так очаровательно все вокруг! Только неделя, как я здесь, а голова уже полна впечатлений и воспоминаний... Вот хотя бы не далее как вчера вечером я смотрел, как гонят стада домой, на

мае (ферму), что у подножия холма, и клянусь вам: я не променял бы этого зрелища на все парижские премьеры за последнюю неделю. Судите сами.

Надо вам сказать, что в Провансе обычно с наступлением жары пастухи угоняют скот в Альпы. Стада проводят пять-шесть месяцев в горах, под открытым небом, по брюхо в траве, затем, при первом дуновении осени, спускаются на ферму и снова мирно пощипывают траву у себя дома, на серых холмах, благоухающих розмарином... Итак, вчера вечером возвращались стада. В ожидании ворота с утра стояли настезь. Стойла были устланы свежей соломой. Народ все время толковал: «Теперь они в Эгьере, теперь в Параду». Вдруг, уже под вечер, громкий крик: «Идут!» И вот вдали мы увидели стадо, приближавшееся в облаке пыли. Кажется, что вместе с ним движется вся дорога... Впереди выступают, выставив рога, старые бараны, свирепые с виду, за ними вся отара; матки чуть-чуть притомились, между ног у них путаются сосунки; мулы, украшенные красными помпонами несут в корзинах однодневных ягнят, укачивая их на ходу; позади собаки, все взмокшие, с высунутыми чуть не до земли языками, и два рыжих молодца-пастуха в бурых шерстяных плащах, перекинутых через плечо и спускающихся до пят наподобие кардинальской мантии.

Все они весело прошествовали мимо нас и исчезли в воротах с таким шумом, словно вдруг полил дождь. Надо было видеть, какая поднялась суматоха. Большие болотисто-зеленые павлины с прозрачными хохлами узнали с высоты своего насеста пришельцев и встречают их громким трубным звуком. Курятник, уже было задремавший, разом проснулся. Все всполошились: голуби, утки, индейки, цесарки. Птичий двор просто обезумел, куры — и те собираются не спать всю ночь!.. Право, кажется, будто каждый баран принес на своем руне вместе с запахом диких альпийских цветов немножко того живительного горного воздуха, от которого пьянеешь и пускаешься в пляс.

Среди такой суеты стадо добирается до загона. Нет ничего очаровательнее этого водворения на прежнее место. Старые бараны при виде своих яслей приходят в умиление. Ягнята, самые маленькие, — те, что родились в пути и не видели еще фермы, — с удивлением озираются.

Но трогательнее всех собаки, овчарки, совсем захлопотавшиеся около стада и никого не замечающие, кроме своих баранов. Напрасно зовет их из конуры цепной пес; напрасно манит их ведро у колодца, до краев полное холодной воды: они ничего не видят, не слышат, пока отара не загнана, щеколда на решетчатой калитке не задвинута и пастухи не уселись за стол в большой комнате. Только тогда идут они на псарню и там, лакая из миски

похлебку, рассказывают своим товарищам с фермы, что делали наверху в горах, в алом царстве, где водятся волки, где растут огромные пурпурные наперстянки, до краев полные росы.

Бокерский дилижанс

Это было как раз в день моего приезда. Я сел в бокерский дилижанс, почтенную старую колымагу; раньше чем стать на покой, ей приходится проделать не бог весть какой путь, но она чуть тащится и к вечеру возвращается домой в таком виде, будто и впрямь ездил за тридевять земель. На империале нас было пятеро, не считая возницы.

Во-первых, камаргский сторож, коренастый, волосатый человек, сущий дикарь, с налитыми кровью глазищами и серебряными кольцами в ушах; затем два бокерских жителя — булочник и его подмастерье, оба красные, оба пыхтящие, но зато какой гордый у них профиль! Ну прямо две римские медали с изображением Вителлия,^[2] и, наконец, на козлах, рядом с кондуктором, мужчина... нет! — картуз, огромный заячий картуз, все больше молчавший и с грустью глядевший на дорогу.

Все они были между собой знакомы и громко, без всякого стеснения, разговаривали о своих делах. Камаргец рассказывал, что едет из Нима, куда его вызывал судебный следователь, потому что он пырнул вилами пастуха. В Камарге народ вспыльчивый... А в Бокере, скажете, нет? Ведь наши два бокерца чуть в горло друг другу не вцепились из-за Девы Марии! Оказывается, булочник был прихожанином церкви, давным-давно основанной в честь той мадонны, которую провансальцы именуют «Доброй матушкой» и которая держит на руках младенца Иисуса, а пекарь пел на клиросе в новенькой церкви во имя «Непорочного зачатия» — того прекрасного, сияющего улыбкой образа богоматери, где она изображена с опущенными руками и с лучами, исходящими от ее ладоней. Это и положило начало ссоре. Вы бы послушали, как оба добрых католика честили друг друга, а заодно и своих мадонн!

— Нечего сказать, хороша твоя непорочная!

— Ну тебя вместе с твоей «доброй матушкой»!

— Твоя, небось, видала виды в Палестине-то!

— А твоя-то? Ну и уродина! Черт знает, чего только она не делала! Надо бы святого Иосифа поспрашивать.

Не хватало только, чтобы засверкали ножи, а то вполне можно было бы вообразить себя в Неаполе, в порту. Право же, я думаю, что их великолепный богословский поединок этим бы и кончился, не вмешайся возница.

— А ну вас совсем с вашими мадоннами! — сказал он, смеясь. —

Бабы сплетни — мужчинам нечего в это путаться.

Затем он щелкнул бичом со скептической усмешкой, и эта усмешка всех убедила.

Спор прекратился, но разошедшийся булочник должен был израсходовать до конца весь свой задор. Повернувшись к несчастному картузу, молча грустившему на козлах, он сказал с насмешливым видом:

— А твоя жена, точильщик, какому приходу привержена?

Надо полагать, в эту фразу был вложен забавный смысл: весь империял так и покатился со смеху, но точильщик не смеялся — он как будто ничего не слышал. Тогда булочник обратился ко мне:

— Вы, сударь, с ней незнакомы, с его женой-то, вот это прихожанка так прихожанка! Будьте покойны: другой такой во всем Бокере не сыщешь.

Смех усилился, точильщик не шелохнулся, — он только пробормотал, не подымая головы:

— Замолчи, булочник!

Но злодей-булочник не собирался молчать — он не унимался:

— Болван! Такой жене всякий позавидует! С ней не соскучишься... Сами посудите: красотка бегаёт от мужа каждые полгода, ей всегда есть что рассказать по возвращении... Что ни говори, веселая семейная жизнь... Можете себе представить: году не прошло, как они поженились — хлоп! Жена уезжает в Испанию с торговцем шоколадом. Муж остается один, плачет, пьет... Чуть с ума не сошел. Через некоторое время красотка вернулась на родину, одетая испанкой, с звенящим тамбурином. Мы все ей говорили: «Спрячься! Убьет он тебя!..» Как бы не так... Убил!.. Они поладили, и она научила его играть на тамбурине.

Раздался новый взрыв хохота. Точильщик, не поднимая головы, опять пробормотал из своего угла:

— Замолчи, булочник!

Булочник не обратил внимания и продолжал:

— Вы, сударь, может быть, думаете, что, вернувшись из Испании, красотка угомонилась?.. Какое там!.. Муж не рассердился. И ее снова потянуло на то же. Вслед за испанцем явился офицер, потом матрос с Роны, потом музыкант, потом... Да разве всех упомнишь?.. Но лучше всего, что каждый раз повторяется та же комедия. Жена убегает — муж плачет, она возвращается — он утешен. И вечно она от него уходит, и вечно он ей прощает. Ну и терпение же у этого мужа! Надо правду сказать: красавица она хоть куда, точильщикова женушка-то... Вот уж подлинно лакомый кусочек: живая, хорошенькая, складная, да к тому же еще кожа белая и глаза, как вишни, смотрят на мужчин и смеются... Ей-богу, парижанин,

если вам случится попасть в Бокер...

— Да замолчи же, булочник, ну пожалуйста!.. — еще раз сказал бедняга-точильщик раздирающим душу голосом.

В эту минуту дилижанс остановился. Мы добрались до фермы Англоров. Здесь слезли оба бокерца, и, честное слово, я об этом не пожалел... Ну и шутник же этот булочник! Он уже был во дворе фермы, а смех его все не умолкал.

С их уходом империал сразу опустел. В Арле сошел камаргец, возница шагал по дороге рядом с лошадьми... Наверху остались точильщик да я; мы оба сидели в своих углах и молчали. Было жарко, кожаный верх экипажа нагрелся. Минутами я чувствовал, что глаза у меня слипаются, а голова клонится на грудь, но заснуть я не мог. В ушах все еще звучали слова: «Замолчи, булочник, ну пожалуйста!» — слова, надрывавшие душу, такие жалобные!.. И он, бедняга, тоже не спал. Мне сзади было видно, как вздрагивали его плечи и как по-стариковски тряслась на спинке скамьи его рука, длинная, безжизненная и нелепая. Он плакал...

— Вот вы и приехали, парижанин, — окликнул меня вдруг возница и концом бича указал на зеленый холм с мельницей наверху, напоминавшей огромную бабочку, наколотую на булавку.

Я поспешил сойти... Проходя мимо точильщика, я заглянул ему под козырек: мне хотелось, раньше чем уйти, посмотреть, какой он. Словно угадав мою мысль, бедняга поднял голову и, глядя мне прямо в глаза, сказал глухим голосом:

— Поглядите на меня хорошенько, приятель, и если на этих днях вы услышите, что в Бокере стряслась беда, можете сказать, что знаете того, кто тут повинен.

У него было увядшее и грустное лицо с померкшими глазами. В глазах стояли слезы, но в голосе слышалась ненависть. Ненависть — это гнев людей слабых. На месте жены точильщика я бы поостерегся.

Тайна деда Корниля

Старый флейтист Франсе Мамай время от времени заходит посумерничать со мной за стаканчиком вина. Он рассказал мне прошлым вечером незатейливую деревенскую быль, свидетельницей которой лет двадцать тому назад довелось стать моей мельнице. История эта меня тронула, и я постараюсь передать ее вам так, как сам слышал.

Представьте себе на минутку, дорогие читатели, будто сидите вы за кубшином ароматного вина, а речь ведет старик-флейтист:

— Наш край, сударь вы мой, не всегда был мертвым и глухим, как нынче. Когда-то мельники делали тут большие дела, со всей округи народ с ферм вез за десять миль зерно к нам на помол. Все холмы вокруг деревни были усеяны ветряными мельницами. И справа и слева только и видно было, как над соснами вертятся на ветру крылья да вереницы осликов, навьюченных мешками, поднимаются и спускаются по дорогам, и всю-то неделю сердце радовалось, что наверху хлопают бичи, трещит парусина на крыльях, а работники на мельнице покрикивают: «Но, но!..» По воскресеньям мы гурьбой отправлялись на мельницы. Мельники угощали мускатом. Мельничихи все, как на подбор, были красавицы — королевы да и только: в кружевных косынках, с золотыми крестиками на шее. Я прихватывал с собой флейту, и до темной ночи не прекращалась фарандола.

[3] Понимаете: от мельниц край у нас веселел и богател.

К несчастью, парижанам пришла мысль устроить паровой мукомольный завод на Тарасконской дороге. Что ново, то и мило! Вот и стал народ возить хлеб к мукомолам, а бедным ветряным мельницам нечего было делать. Некоторое время они пытались бороться, но пар оказался сильнее, и одна за другой они, бедненькие, все позакрывались... Не видать было больше осликов... Красавицы-мельничихи попродавали свои золотые крестики... Ни тебе муската!.. Ни тебе фарандолы!.. Сколько ни дул мистраль, крылья не двигались... И вот в один прекрасный день община решила снести все постройки и на их месте насадить виноградники и оливковые рощи.

Все же одна мельница уцелела от разгрома и продолжала мужественно вертеться назло всем мукомолам. Это была мельница деда Корниля, та самая, где мы сейчас с вами коротаем вечер.

Дед Корниль, старый мельник, до страсти любил свое ремесло, которым кормился шестьдесят лет. Неделю бегал он по деревне, мутя народ

и доказывая, что Прованс собираются отравить мукою с мукомольных заводов. «Не ходите туда, — говорил он, — эти разбойники, чтобы смолотить зерно, пользуются паром — дьявольским изобретением, а на меня работают мистраль да трамонтана — это божье дыхание...» Он находил много красивых слов во славу ветряных мельниц, да только никто его не слушал.

Тогда в лютой злобе старик заперся у себя на мельнице и зажил там один, как дикий зверь. Не пожелал даже оставить при себе внучку Виветту, пятнадцатилетнюю девочку, у которой после смерти родителей никого не осталось, кроме деда. Бедняжке пришлось самой кормиться и на время жатвы, сбора коконов или маслин наниматься то на одну, то на другую ферму. А вот поди ж ты: дед как будто очень ее любил, девочку-то. Часто случалось ему пешком по солнцепеку тащиться на ферму, где она работала, чтоб повидаться с ней, а там он часами не спускал с нее глаз и плакал...

Народ думал, что старый мельник по скупости расстался с Виветтой, и осуждал его за то, что он послал внучку скитаться по фермам, где ей придется натерпеться грубостей от работников и хлебнуть горя, с малолетства живя в людях. Косились и на то, что такой уважаемый человек, как дед Корниль, который раньше себя соблюдал, ходил теперь по улицам цыган-цыганом, босой, в дырявой шапке и рваном поясе. Надо сказать, что по воскресеньям, когда он входил в церковь, нам, старикам, было за него совестно, и Корниль это прекрасно чувствовал и уже не решался садиться на скамью. Он всегда держался позади, около кропильницы, вместе с нищими.

Что-то у деда Корниля творилось непонятное. Уже давно никто в деревне не молот у него зерна, а крылья на его мельнице крутились, как и раньше... По вечерам проходим встречался на дороге старый мельник, подгонявший своего осла, навьюченного тяжелыми мешками с мукой.

— Добрый вечер, дед Корниль! — окликали его крестьяне. — Видать, мельница-то по-старому работает?

— По-старому, детки, — отвечал дед Корниль с веселым видом. — Слава тебе господи, за работой дело не станет.

А когда его спрашивали, откуда берется столько работы, он прикладывал палец к губам и с важностью отвечал:

— Молчок! Я работаю на вывоз...

Больше из него ничего нельзя было вытянуть.

Сунуть же нос в его мельницу нечего было и думать.

Даже внучке Виветте путь туда был заказан...

Кто шел мимо, видел, что дверь всегда на запоре, огромные крылья всегда вертятся, старый осел щиплет траву на площадке, а большая тощая

кошка греется на солнышке, сидя на подоконнике, и смотрит на всех злыми глазами.

Все это пахло тайной и вызывало много толков. Всяк по-своему разгадывал загадку деда Корниля. Однако шла молва, что на мельнице мешков с золотом больше, чем мешков с мукой.

В конце концов все открылось, и вот каким образом.

Играя танцевавшей молодежи на флейте, в один прекрасный день я заметил, что мой старший сын и Виветта полюбились друг другу. Сказать правду, я был доволен: ведь что там ни говори, а Корнилей у нас уважали, да и мне приятно было бы слышать, как щебечет у меня в доме такой милый воробушек, как Виветта. Наша парочка часто встречалась, вот я и решил, боясь, как бы чего не вышло, тут же уладить дело и пошел на мельницу шепнуть два слова деду... Ах, он старый колдун! Посмотрели бы вы, как он меня принял! Никак нельзя было его урезонить, чтоб открыл дверь. Я с грехом пополам, сквозь замочную скважину, втолковал ему, в чем дело, и все время, пока я говорил, его паршивая драная кошка шипела у меня над головой» словно черт какой.

Старик не дал мне досказать и очень невежливо посоветовал убираться подобру-поздорову восвояси; он отсылал меня, коли мне не терпится женить сына, к мукомолам поискать ему там невесту... Понимаете» кровь бросилась мне в голову от таких гадких слов, но я все же был достаточно благоразумен и сдержался. Оставив сумасшедшего старика на его мельнице, я вернулся домой и сообщил детям про свою неудачу. Бедные ягнятки не хотели верить; они, как о милости, просили разрешить им подняться вдвоем на мельницу и поговорить с дедом... У меня не хватило духу отказать, и — фюить! — вот моя парочка и улетела!

Когда они поднялись на гору, дед Корниль только что ушел. Дверь была на запоре, но старик, уходя, позабыл на дворе лестницу, и детям пришла мысль влезть в окно и одним глазком взглянуть, что творится на этой знаменитой мельнице...

Странное дело!.. В помещении для жерновов было пусто. Ни мешка, ни зернышка, ни вот столечко муки на стенах и на паутине... Не чувствовалось даже приятного теплого запаха пшеницы, которым пропитаны все мельницы... Вал был покрыт пылью, и та самая тощая кошка спала на нем.

В нижней комнате — та же мерзость запустения: убогая кровать, тряпье, ломоть хлеба на ступеньке, а в углу три-четыре дырявых мешка, из которых высыпались щебень и известь.

Так вот она, тайна деда Корниля! Так этот мусор он и таскал вечерами

по дороге, чтобы спасти честь своей мельницы и втереть очки, будто он мелет муку!.. Бедная мельница! Бедный Корниль! Уже давно мукомольные заводы отняли у них последних клиентов. Крылья все еще крутились, но жернов вращался вхолостую.

Дети в слезах пришли домой и рассказали мне о том, что видели. У меня сердце разрывалось от жалости... Не теряя ни минуты, побежал я к соседям, рассказал им все в двух словах, и мы порешили тут же свезти на мельницу к Корнилю всю пшеницу, что была у нас дома... Сказано — сделано. Вся деревня пустилась в путь, и мы пришли наверх с целой вереницей ослов, навьюченных зерном, — на этот раз настоящим зерном!

Двери мельницы были распахнуты настежь... У порога на мешке с мусором сидел дед Корниль и плакал, закрыв лицо руками. Вернувшись, он заметил, что в его отсутствие кто-то залез к нему и разгадал его грустную тайну.

— Горький я, горький! — твердил он. — Теперь мне только помереть и осталось... Осрамили мельницу...

И он так рыдал, что душа разрывалась, называл свою мельницу всяческими именами, говорил с ней, как с живой.

В это мгновение ослы добрались до площадки, и мы принялись кричать громко, как в добрую для мельников пору:

— Эй, кто там на мельнице!.. Эй, дед Корниль!

И вот мешки свалены кучей перед дверью, и доброе желтое зерно сыплется на землю со всех сторон...

Дед Корниль вытаращил глаза. Он взял зерно на ладонь и все приговаривал, смеясь и плача:

— Зерно!.. Господи боже мой! Настоящее зерно!.. Дайте мне наглядеться.

Потом он обратился к нам:

— Ах, я так и знал, что дождусь вас! Мукомолы — все жулики.

Мы хотели с торжеством увести его в деревню.

— Нет, нет, детки, сперва накормлю мельницу... Подумать только! Как давно у нее маковой росинки во рту не было!

А у нас у всех в глазах стояли слезы, когда мы смотрели, как старик мечется туда-сюда, опрастывает мешки, следит за жерновом, пока мелется зерно и тонкая пшеничная пыль летит к потолку.

Надо отдать нам должное: с этого дня мы никогда не оставляли старого мельника без работы. Затем, как — то утром, дед Корниль умер, и крылья нашей последней мельницы остановились, на этот раз навсегда... Корниль умер, и никто не заместил его! Что поделаешь, сударь!.. Всему на

земле приходит конец, и надо думать, что прошли времена ветряных мельниц, как прошли времена бурлаков на Роне, королевских судов и пестрых курток.

Козочка господина Сегена

Пьеру Гренгуару, лирическому поэту.

Париж.

Ты, верно, никогда не переменишься, бедный мой Гренгуар!^[4]

Как! Тебе предлагают место хроникера о солидной парижской газете, и у тебя хватает духу отказаться?.. Да посмотри на себя, несчастный ты человек! Посмотри на свой рваный плащ, на стоптанные башмаки, на худое лицо, которое вопит о голоде. Вот до чего довела тебя страсть к звучной рифме! Вот что ты получил за десятилетнюю верную службу в пажах его величества Аполлона! И не стыдно тебе в конце концов?

Да иди ты в хроникеры, дурак! Иди в хроникеры! Будешь получать звонкой монетой, будешь столоваться у Бребана,^[5] а на премьерах сможешь щегольнуть новым пером на берете...

Нет? Не хочешь? Предпочитаешь не поступаться свободой и до конца жизни делать, что душе угодно?.. Ну, так послушай рассказ о козочке господина Сегена. Увидишь, к чему приводит желание жить на свободе.

Г-ну Сегену не везло с козами.

Все они пропадали у него одинаковым образом: в одно прекрасное утро обрывали веревку, уходили в горы, а там их съедал волк. Ни ласка хозяина, ни страх перед волком — ничто не могло их удержать. Говорят, козы были все своенравные, во что бы то ни стало хотели они на простор, на приволье.

Почтенный г-н Сеген был потрясен, он никак не мог понять нрав своих коз. Он говорил:

— Ничего не поделаешь, козы здесь скучают, ни одна у меня не уживается.

Однако он не терял надежды и, лишившись шести коз все тем же путем, купил седьмую; только на этот раз постарался взять совсем молоденькую, чтобы ей легче было привыкать.

Ах, Гренгуар, ну и красавицу же козочку купил г-н Сеген! Ну и красавицу же, с ласковыми глазами, с бородкой, как у сержанта, с черными блестящими копытцами, с полосатыми рожками и длинной белой шерстью, которая покрывала ее, как плащом! Почти такую же очаровательную, как Эсмеральдин козленок,^[6] помнишь, Гренгуар? И совсем ручную,

ласковую; она стояла смиренно, когда ее доили, не брыкалась и не попадала ногой в подойник. Прелесть, а не козочка!..

Позади дома г-на Сегена был загон, обсаженный боярышником. Туда-то он и поселил свою новую питомицу. Он привязал ее к кольшку на самом лучшем месте лужайки, позаботился, чтобы веревка была достаточно длинная, и время от времени заходил посмотреть, хорошо ли его козочке. Козочка чувствовала себя отлично и с таким аппетитом щипала траву, что г-н Сеген был в восторге.

«Наконец-то я нашел козу, которая не соскучится у меня!»-думал бедняга.

Г-н Сеген ошибался: козочка заскучала.

Раз как-то, глядя на горы, она подумала:

«Как, верно, привольно там, наверху! Как весело скакать среди вереска без проклятой привязи, которая трет шею!.. Ослу либо быку под стать пастись в загоне!.. А козам нужен простор...»

С этой минуты трава в загоне стала казаться ей невкусной. На нее напала тоска. Она отощала, убавила молока. Жалость брала смотреть на нее, когда она старалась сорваться с привязи и целыми днями, повернув голову в сторону гор, раздув ноздри, печально тянула: «Мэ-э-э!»

Г-н Сеген, правда, замечал, что с козочкой творится что-то неладное, но не догадывался, что именно. Однажды утром, когда он ее подоил, козочка повернулась к нему и сказала на своем языке:

— Послушайте, господин Сеген: я скучаю у вас, отпустите меня погулять в горы.

— Ах ты, боже мой! И она тоже! — воскликнул пораженный г-н Сеген и тут же выронил подойник; потом сел на траву около козочки.

— Что же это, Бланкетта? Ты хочешь уйти от меня?

А Бланкетта ответила:

— Да, господин Сеген.

— Травы тебе, что ли, мало?

— О нет, господин Сеген!

— Может, привязь коротка? Хочешь, я отпущу веревку?

— Не стоит, господин Сеген!..

— Тогда что же тебе надо? Чего ты хочешь?

— Я хочу в горы, господин Сеген.

— Безумная! Разве ты не знаешь, что в горах волк?.. Что ты будешь делать, когда он придет?

— А я его рогами, господин Сеген.

— Подумаешь, испугался волк твоих рогов! Он у меня коз пободливее

тебя съел... Помнишь бедную старую Реноду, что жила здесь в прошлом году? Всем козам коза, сильная и злая, как козел. Всю ночь она билась с волком... а наутро волк ее съел.

— Ай-ай-ай! Бедняжка Рено да!.. Ничего, господин Сеген, отпустите меня погулять в горы.

— Боже мой милостивый!.. — сказал г-н Сеген. — Что за напасть такая на моих коз? Теперь волк съест У меня и эту козу... Ну так нет же!..Тебе назло, уберегу тебя, негодница! А чтобы ты не оборвала веревки, я запру тебя в чулан, и там ты и будешь жить.

С этими словами г-н Сеген унес козу в темный чулан и крепко-накрепко запер дверь. К несчастью, он позабыл про окно, и не успел он повернуться спиной к козочке, как она убежала...

Ты смеешься, Гренгуар? Ну еще бы! Ты, конечно, на стороне коз, а не на стороне почтенного г-на Сегена... Посмотрим, будешь ли ты смеяться и дальше.

Когда белая козочка очутилась в горах, она вызвала всеобщее восхищение. Никогда еще вековые сосны не видели такой красавицы. Ее встретили, как принцессу. Каштаны склонялись до земли, чтобы погладить ее концами ветвей. Золотой дрок расцветал при ее приближении и благоухал изо всех сил. Все в горах чествовали ее.

Воображаешь, Гренгуар, как наша козочка была счастлива! Ни тебе веревки, ни тебе колышка... Можно скакать, можно щипать траву в свое удовольствие... А травы-то сколько! Выше рогов, голубчик!.. И что за трава! Сочная, нежная, кружевная, тысячи разных сортов... Совсем не то, что на лужайке в загоне. А цветы!.. Огромные синие колокольчики, продолговатые чашечки пурпурной наперстянки, заросли полевых цветов, источающих хмельной сок!

Белая козочка опьянела и, задрвав ноги, валялась среди опавших листьев и каштанов и скатывалась со склонов... Потом вдруг вскакивала на все четыре ноги. Гоп! Вот она носится сломя голову по зарослям и кустарникам, вот она высоко на уступе, вот на дне оврага, наверху, внизу, повсюду;. Можно было подумать, что в горах носятся десять козочек г-на Сегена.

И в самом деле, Бланкетта ничего не боялась.

Одним прыжком перемахивала она через широкие потоки, и они обдавали ее брызгами и пеной. Вся мокрая, ложилась она где-нибудь на ровном месте и обсыхала на солнышке... Раз подбежала она к краю оврага, покусывая цветок раkitника, и увидела внизу, на самом дне долины, дом г-на Сегена и загон позади него. Это рассмешило ее до слез.

— Ой, какое все маленькое! — сказала она. — И как я там умещалась!
Глупышка! Взобравшись на такую высоту, она думала, что она по крайней мере так же велика, как мир...

Словом, для козочки г-на Сегена день выдался радостный. Около полудня, носясь то туда, то сюда, она попала в стадо оленей, с аппетитом щипавших дикий виноград. Наша беглянка в белой шубке произвела фурор.

Ей уступлено было лучшее место у винограда, и все кавалеры проявили большую учтивость. Говорят даже, — но это должно остаться между нами, Гренгуар, — говорят, что молодому оленю с черной шерстью посчастливилось покорить Бланкетту. Влюбленная парочка уединилась на часок в лесу, а если тебе хочется знать, о чем они говорили друг с дружкой, спроси у болтливых ручьев, незаметно струящихся во мху.

Вдруг ветер посвежел. Горы залиловели, наступил вечер...

— Уже! — сказала козочка и в удивлении остановилась.

Внизу поля подернулись мглой. Загон г-на Сегена тонул в тумане, а от дома виднелась только крыша с дымком над ней. Бланкетта послушала, как звенело колокольцами стадо, которое гнали домой, и на душе у нее стало грустно... Кречет, возвращавшийся в свое гнездо, пролетая, задел ее крылом. Она вздрогнула... Тут в горах что-то завывало...

— У-у! У-у!

Она вспомнила о волке! За весь день резвушка не вспоминала о нем... В то же мгновение далеко в долине прозвучал рожок. Это добрый г-н Сеген последний раз пытался вернуть ее.

— У-у! У-у!.. — выл волк.

— Вернись! Вернись!.. — звал рожок.

Бланкетте захотелось было домой, но, вспомнив колышек, привязь, изгородь вокруг загона, она подумала, что теперь не сможет примириться с такой жизнью и что лучше остаться.

Рожок замолк...

Козочка услышала за спиной шелест листьев. Она обернулась и увидела в сумерках два коротких настороженных уха и два сверкающих глаза... Это был волк.

Огромный, неподвижный, сидел он на задних лапах, смотрел на белую козочку и предвкушал удовольствие съесть ее. Волк не торопился — он отлично знал, что успеет съесть козочку; только когда она оглянулась, он злобно захохотал.

— Ха-ха! Козочка г-на Сегена!

И он облизнул длинным красным языком сухие губы.

Бланкетта поняла, что пропала... На минутку, вспомнив рассказ о

старой Реноде, которая билась всю ночь, а наутро все же была съедена волком, она подумала, что, пожалуй, лучше будет отдать себя на съедение сейчас же. Затем, передумав, она приготовилась к бою, нагнула голову и выставила рога, как и полагалось храброй козочке г-на Сегена... Не то чтобы она надеялась убить волка — козам волка не убить, — просто ей хотелось посмотреть, выдержит ли она так же долго, как Ренода.

Тут страшный зверь приблизился, и рожки заплясали.

Ах, как дралась наша храбрая козочка! Больше десяти раз — я не преувеличиваю, Гренгуар, — заставила она волка отступить, чтобы перевести дух. В минуты передышек лакомке удавалось щипнуть пучок травы, и с полным ртом она снова вступала в бой... Так шло всю ночь. Иногда козочка г-на Сегена взглядывала на звездные хороводы в чистом небе и думала:

«Ах, только бы продержаться до рассвета!..»

Одна за одной меркли звезды. Бланкетта с новой силой пустила в ход рога, а волк — зубы... На краю неба появилась бледная полоса света... С фермы донесся хриплый крик петуха.

— Наконец-то! — сказала бедняжка-козочка, ждавшая только рассвета, чтобы умереть; она вытянулась на земле, ее прекрасная белая шубка была вся в крови...

Тогда волк набросился на козочку и съел ее.

Прощай, Гренгуар!

История эта не выдумана мною. Если тебе случится побывать в Провансе, наши фермеры тебе уж, конечно, расскажут о козочке г-на Сегена; козочка билась с волком всю ночь, а наутро волк ее съел.

Понимаешь, Гренгуар?

...а наутро волк ее съел.

Звезды

Рассказ провансальскою пастуха

В ту пору, когда я пас скот на Любероне, я по целым неделям не видал живой души, бродил по пастбищам один со своей собакой Лабри да с овцами. Разве когда пройдет отшельник с Мон-де-л'Юр в поисках целебных трав да порой повстречается черный от копоти пьемонтский угольщик. Но это были люди бесхитростные, привыкшие в своем одиночестве к молчанию, потерявшие вкус к разговору и далекие от всего, что говорилось внизу, в селах и в городах. Зато и радовался же я, как заслышу на тропе, идущей в гору, бубенцы мула с нашей фермы, раз в две недели доставлявшего мне припасы, и увижу, как постепенно над склоном появляется смышленная рожица *миарро* (мальчишки с фермы) или бурый шлык старой тетки Норады! Я торопил их, чтобы они рассказали деревенские новости: кого крестили, кого просватали. Особенно любопытно мне было узнать, что поделывает хозяйская дочка, наша барышня Стефанетта, красивее которой не было на десять миль окрест. Не подавая виду, что это меня особенно затрагивает, я справлялся, часто ли она ходит на вечеринки, на посиделки, есть ли у нее новые вздыхатели. А если кто спросит, какое до этого дело мне, бедному пастуху, я отвечу, что мне было тогда двадцать лет, а прекрасней Стефанетты я в жизнь свою никого не видывал.

Вот как-то в воскресенье, когда я дожидался двухнедельных припасов, случилось, что с ними очень запоздали. Утром я подумал: «Верно, это из-за поздней обедни». Затем, ближе к полудню, разразилась гроза, и я решил, что мул не мог пройти по размытой дороге. Наконец, около трех часов прояснило, горы омылись и заблестели на солнце. Тут я услышал сквозь рокот вздувшихся потоков и шум капель, падающих с листьев, бубенцы мула, радостные, торопливые, будто пасхальный трезвон. Но сопровождал мула не маленький *миарро*, не старуха Норада. Сопровождал его... угадайте, кто!.. Хозяйская дочка, дети мои! Хозяйская дочка, порозовевшая от горного воздуха и послегрозовой прохлады, чинно сидела между ивовыми корзинами.

Мальчик заболел, тетка Норада отпросилась к детям. Все это красавица Стефанетта рассказала мне, слезая с мула, и еще — что сбилась с дороги, потому и запоздала. Но, глядя на нее, такую расфуфыренную, в

цветных лентах, в яркой юбке, в кружевах, можно было скорее подумать, что она замешкалась где-нибудь на танцах, а не отыскивала в кустарнике дорогу. Ну что за душенька! Глаз бы от нее не отвел. Правда, я не видал ее еще так близко. Зимой, когда стадо уже спустится в долину, я отправлялся по вечерам ужинать на ферму, и иногда она проходила по комнате, быстро, ни с кем из слуг не заговаривая, всегда нарядная и чуточку важная... А теперь она была тут только для меня одного! Ну как не потерять голову?

Вынув из корзины провизию, Стефанетта с любопытством огляделась. Приподняв, чтобы не испачкать, свою нарядную праздничную юбку, она вошла в загон, захотела поглядеть на угол, где я спал, на соломенную подстилку с овчиной* на мой большой плащ, висевший на стене, на посох, на кремневое ружье. Все это ее занимало.

— Здесь ты и живешь, бедный мой пастух? Верно, скучаешь вечно один! Что ты делаешь? О чем думаешь?..

Мне хотелось ответить: «О вас, хозяйка!» И я бы не солгал. Но я так оробел, что слова не мог вымолвить. Думаю, она это заметила, а ей, плутовке, доставляло удовольствие своими лукавыми вопросами еще больше смущать меня.

— А что, пастух, твоя милая подымается иногда проведать тебя?.. Уж, конечно, это золотая коза или фея Эстрела, что порхает по гребням гор...

И сама она, когда говорила, казалась феей Эстрелой, так она звонко смеялась, запрокинув голову, и торопилась уйти, и от этого чудилось, что приход ее мне только пригрезился.

— Прощай, пастух!

— Будьте здоровы, хозяйка!

И вот она уехала и увезла пустые корзины.

Когда она скрылась из глаз на крутой тропинке, мне показалось, что камешки, которые катились из-под копыт ее мула, один за другим падают мне на сердце. Я долго-долго слышал их. И до вечера я сидел, как зачарованный, боясь шелохнуться, чтобы не спугнуть мои мечты. Под вечер, когда долины подернулись синевой, а овцы с бляньем жались друг к дружке, я, входя в загон, услышал, как кто-то меня окликнул со склона, и увидел хозяйскую дочку. Только теперь она уже не смеялась, как давеча, а дрожала от страха, холода, сырости. По ее словам, спустившись с горы, она увидела, что Сорга вздулась от ливня во время грозы, а когда вздумала во что бы то ни стало перебраться на ту сторону, то чуть не утонула. Весь ужас был в том, что в такой поздний час нечего было и думать возвратиться на ферму: ведь хозяйская дочка сама нипочем не нашла бы обходную тропинку, а я не мог оставить стадо. Ее очень беспокоила мысль провести

ночь в горах, особенно из-за того, что дома будут волноваться. Я успокаивал ее, как только мог.

— В июле, хозяйка, ночи короткие... Придется пережить неприятную минуту, и только.

И я быстро развел яркий огонь, чтобы она посушила ноги и платье, вымокшее в Сорге. Потом я принес молока, овечий сыр, но бедняжка не думала ни греться, ни кушать, и при виде крупных слез, выступивших у нее на глазах, я тоже чуть не заплакал.

Между тем совсем стемнело, только на гребне гор лежал еще солнечный налет, светлая дымка с той стороны, где закат. Я хотел устроить хозяйку на ночлег в загоне. Постелил на свежей соломе прекрасную новую овчину, пожелал спокойной ночи и уселся на воле за дверью... Хотя кровь у меня и распалилась от любовного жара, бог мне свидетель, что на уме у меня не было дурных мыслей, а только чувство гордости, как подумаю, что тут же, в загоне, около отары, с любопытством глядевшей на нее, спит хозяйская дочка, сама как овечка, только дороже и белее всех остальных, а я охраняю ее покой. Никогда еще небо не казалось мне таким бездонным, звезды такими яркими... Вдруг калитка в загоне отворилась, и вышла красавица Стефанетта. Ей не спалось. Овцы ворочались и шуршали соломой или бляели со сна. Лучше уж она посидит у костра. Тогда я накинул ей на плечи свой козий мех, раздул огонь, и мы уселись рядышком и молчали. Если вам случалось проводить ночь под открытым небом, вы знаете, что в час, когда мы спим, в тиши и безлюдье пробуждается таинственный мир. Ручьи тогда поют куда явственнее, в заводях загораются огоньки. Все горные духи бродят на свободе, и воздух насыщен шорохами, невнятным шелестом, словно слышишь, как ширятся ветви, как растет трава. Днем живут все твари, а ночью оживают вещи. С непривычки это пугает... Вот хозяйская дочь и дрожала и жалась ко мне при малейшем шорохе. Вдруг протяжный жалобный крик поднялся с заводи, что мерцала пониже, и донесся к нам. И тут же, над головой у нас, в том же направлении покатила красивая падучая звезда, словно только что услышанная жалоба повлекла за собой свет.

— Что это? — шепотом спросила Стефанетта.

— Душа идет в рай, хозяйка, — ответил я и перекрестился.

Она тоже перекрестилась и, подняв голову, глубоко задумавшись, на минуту застыла. Потом сказала:

— Так это правда, пастух, что вы все колдуны?

— Совсем нет, хозяйка, только здесь мы живем ближе к звездам и лучше, чем народ в долине, знаем, что творится там, наверху.

Она все еще смотрела в небо, подперев голову рукой и завернувшись в овчину, — ну прямо небесный пастушок!

— Сколько их! Как красиво! Никогда не видала я такого множества. Пастух! Знаешь ты их по названиям?

— Конечно, хозяйка. Вот сразу над нами Дорога святого Иакова (Млечный Путь). Она ведет из Франции прямо в Испанию. Святой Иаков Галисийский начертал ее, чтоб указать дорогу храброму Карлу Великому, когда тот воевал с сарацинами. Дальше Колесница Душ (Большая Медведица) — вон блещут четыре оси на ней. Три звезды, что впереди, — это *Три Коня*, а там, совсем маленькая, около третьей, — это *Возница*. Видите, вокруг дождем падают звезды? Это души, которых господь бог не приемлет... Чуть пониже *Грабли*, или *Три Короля* (Орион). По ним мы, пастухи, узнаем время. Посмотрел я на них и уже знаю, что сейчас за полночь. Чуть пониже, все туда же, к югу, как факел среди звезд, сверкает *Иоанн Миланский* (Сириус). Вот что рассказывают пастухи об атой звезде. Будто бы как-то ночью *Иоанн Миланский* вместе с *Тремя Королями* и *Наседкой* (Плеядой) получили приглашение на свадьбу к знакомой звезде. *Наседка* припустилась по верхней дороге. Видите? Вон она, высоко-высоко в небе! *Три Короля* бросились ей наперерез нижней дорогой и догнали ее. А лентяй *Иоанн Миланский* проспал, замешкался и со злости, чтобы задержать их, бросил им вдогонку посох. Вот почему *Трех Королей* зовут еще *Посохом Иоанна Миланского*. Но прекраснее всех звезд, хозяйка, наша Пастушья Звезда. Это она светит нам утром, когда мы выгоняем стадо, и вечером тоже, когда мы гоним его домой. Мы зовем ее еще Магелоной. Прекрасной Магелоной, что догоняет *Петра Провансальского* (Сатурн) и соединяется с ним раз в семь лет.^[7]

— Как, пастух, разве звезды сочетаются браком?

— Конечно, хозяйка.

И пока я пытался объяснить ей, что это за браки, я почувствовал, как на плечо мне мягко легло что-то прохладное и нежное. Это она в ласковом шелесте лент, кружев и волны волос прислонилась ко мне отяжелевшей от сна головкой. Она не шелохнулась до тех пор, пока светила небесные не погасли, померкнув в свете занимавшегося дня. Я смотрел на спящую, слегка возбужденный в тайниках своего существа, но охраняемый от всего дурного святостью светлой ночи, всегда внушавшей мне только добрые помыслы. Вокруг нас звезды молча свершали свой путь, смирные, как огромное стадо. И порой мне казалось, что одна звезда, самая красивая, самая яркая, заблудилась и решила отдохнуть у меня на плече...

Арлезианка

Чтобы спуститься от моей мельницы в деревню, надо пройти мимо фермы, выстроенной у дороги, в конце большого двора, обсаженного вязами. Это типичная провансальская ферма: красная черепица, широкий коричневый фасад с неровными промежутками между окнами, над чердаком флюгер, блок для поднятия копен на сеновал, охапки побуревшего сена торчат оттуда наружу.

Почему этот дом так поразил меня? Почему каждый раз при виде этих закрытых ворот сжималось мое сердце? Не могу объяснить, и тем не менее от жилья на меня веяло холодом. Слишком тихо было вокруг... Собаки не лаяли на прохожих, цесарки убегали без крику... Внутри не слышно было человеческого голоса. Тишина. Даже мул не звенел бубенцами... Не будь белых занавесок на окнах да дыма над крышей, можно было бы подумать, что дом нежилой.

Вчера в самый полдень я возвращался из деревни, и, чтобы не идти по солнцепеку, пробирался у забора в тени деревьев... На улице перед домом работники молча навивали на воз сено... Ворота были открыты. Проходя, я заглянул во двор и увидел высокого, белого, как лунь, старика в не по росту короткой куртке и в рваных штанах; он сидел за большим каменным столом, подперев голову руками... Я остановился. Один из работников сказал мне шепотом:

— Тсс! Хозяин... Он такой с тех пор, как с сыном стряслась беда.

В эту минуту женщина и мальчик, все в черном, с большими тисненными золотом молитвенниками прошли мимо нас и скрылись на ферме.

Работник прибавил:

— Хозяйка и меньшей пришли из церкви от обедни. Они каждый день туда ходят с тех пор, как старший сын покончил с собой... Ах, сударь! Какое горе!.. Отец все еще носит одежду покойного, никак не хочет с ней расстаться... Но, миленькие, но!

Лошади тронулись. Мне захотелось дослушать рассказ, и я попросился к работнику на воз с сеном. И там, наверху, я узнал эту потрясающую историю...

Его звали Жан. Это был чудесный двадцатилетний крестьянский парень, скромный, как девушка, крепкий, с открытым лицом. С собой пригож, женщины заглядывались на него, но у него на уме была только

одна — хорошенькая арлезианка, вся в бархате и кружевах, которую он случайно повстречал на Арльском амфитеатре.^[8] Сперва домашние этому увлечению не сочувствовали. Девушка слыла ветреницей, родители ее были нездешние. Но Жан всеми силами души стремился к своей арлезианке. Он говорил:

— Я умру, если ее не отдадут за меня.

Ничего не поделаешь. Решено было справить свадьбу после жатвы.

И вот как-то, в воскресенье вечером, семья обедала во дворе фермы. Обед был почти что свадебный. Невесты, правда, не было, но за ее здоровье пили неоднократно... Тут к дверям подошел мужчина и дрожащим голосом сказал, что хочет поговорить с дядюшкой Эстевом наедине. Эстев встал и вышел на улицу.

— Хозяин! — сказал мужчина. — Вы собираетесь женить сына на мерзавке. Два года я был ее любовником. Раз я говорю, значит, и доказать могу. Вот вам письма!.. Родители все знают и обещали отдать ее за меня. Но с тех пор как за нее сватается ваш сын, ни они, ни сама красotka меня больше знать не хотят... А, мне кажется, после того, что было, ей нельзя быть женой другого.



— Ладно! — сказал дядюшка Эстев, просмотрев письма. — Входите, выпейте стаканчик муската.

Мужчина ответил:

— Спасибо! Меня мучает не жажда, а горе.

И ушел.

Отец вернулся как ни в чем не бывало, сел за стол, и обед кончился весело...

В этот вечер дядюшка Эстев пошел в поле вместе с сыном. Долго не возвращались они домой. Когда они пришли, мать их еще дожидалась.

— Жена! — сказал хозяин, подводя к ней сына. — Приласкай его, у него горе...

Жан больше не говорил об арлезианке, но любил он ее по-прежнему и

даже еще сильнее с тех пор, как узнал, что ее держал в объятиях другой. Только он был слишком горд и молчал — это-то его и сгубило, беднягу!.. Иногда он на целый день забивался в угол. В другой раз с остервенением набрасывался на работу и один справлялся за десятерых... По вечерам уходил на Арльскую дорогу и шел до тех пор, пока не вырисовывались на фоне заката стройные городские колокольни. Тогда он возвращался. Дальше он не ходил ни разу.

Видя его таким, всегда печальным и одиноким, домашние не знали, что делать. Опасались, как бы не стряслось какой беды... Раз за столом мать, посмотрев на него полными слез глазами, сказала:

— Послушай, Жан, если ты все еще по ней сохнешь, мы согласны женить тебя на ней...

Отец, красный от стыда, опустил глаза...

Жан покачал головой и вышел...

С этого дня он переменял образ жизни, все время прикидывался веселым, чтобы успокоить родителей. Стал опять появляться на танцах, в трактире, на праздниках. На выборах в Фонвьеле вел фарандолу.

Отец говорил: «Он излечился...» Но мать все еще была в страхе и пуще прежнего следила за сыном... Жан спал с младшим братом около помещения, где разводили шелковичных червей; бедная старуха поставила себе кровать возле их спальни... Она говорила, что ночью ей может понадобиться присмотреть за червями.

Пришел день святого Элигия, покровителя фермеров.

На ферме шел пир горой... Всем поднесли шатонефа, а подогретое вино рекой лилось. Потом был фейерверк, костры на гумне, цветные фонарики на вязах... Слава святому Элигию! Фарандолу плясали до упаду. Меньшой сжег свою новую блузу... Даже Жан казался довольным; он упросил и мать принять участие в танцах. Бедная женщина плакала от радости.

Легли в полночь. Всем надо было выспаться... Но Жан не спал. Его брат потом рассказывал, что он проплакал всю ночь... Да, уж поверьте мне, задело его за живое...

Наутро, чуть свет, мать услышала, как кто-то бегом пробежал через комнату, где она спала. Ее точно что кольнуло.

— Жан! Это ты?

Жан не ответил; он был уже на лестнице.

Мать мигом вскочила:

— Жан! Ты куда?

Он подымается на чердак; она следом за ним:

— Сынок! Ради всего святого!

Он захлопывает дверь и задвигает засов.

— Жан, сыночек, Жан! Ответь! Что ты задумал?

Ощупью, старыми, дрожащими руками ищет она щеколду... Звук открываемого окна, шум падения тела на выложенный плитам двор, — и все...

Он, бедняга, решил: «Я слишком люблю ее... я уйду...» Ах, жалкие мы люди! На что же это похоже? Презрение не может убить любви!..

В это утро народ в деревне недоумевал, кто так горько плачет в той стороне, где *мае* Эстеров.

Во дворе за каменным столом, мокрым от росы и крови, убивалась над своим мертвым сыном мать, вскочившая в чем была с постели.

Папский мул

Вот вам самая красочная и самая забавная из всех известных мне очаровательных поговорок, пословиц и прибауток, которыми наши крестьяне в Провансе уснащают свою речь. Кого ни возьми на пятнадцать миль вокруг моей мельницы, стоит только заговорить о человеке злопамятном и мстительном, всякий обязательно скажет: «Ух, это такой человек! Не доверяйте ему!.. Он, как папский мул, семь лет ждать будет, а потом все-таки угостит копытом! За ним не пропадет!»

Я долго допытывался, откуда могла взяться такая поговорка, что это за папский мул и почему он ждал семь лет, чтобы угостить копытом. Никто здесь не мог удовлетворить мое любопытство, даже флейтист Франсе Мамай, а он знает все провансальские легенды наизусть. Франсе, как и я, полагал, что взята она из какой-то старинной авиньонской летописи, но слышать о ней ему не доводилось, разве что в этой поговорке.

— Доискаться, в чем здесь дело, вы можете только у кузнечиков, в их библиотеке, — сказал мне, смеясь, старый флейтист.

Мысль мне понравилась. А кузнечики открыли свою библиотеку тут же, у самого моего порога. Вот я и засел там на неделю.

Библиотека эта замечательная, прекрасно подобранная, доступная поэтам днем и ночью, служат в ней крохотные библиотекари с цимбалами, и звенят они без умолку. Я провел там несколько очаровательных дней, лежа на спине, и в конце концов, после недельных поисков, нашел то, что мне было нужно, — историю моего мула и тех знаменитых семи лет, которые он ждал, чтобы лягнуть. Сказка очаровательная, хотя немного наивная. Я постараюсь передать ее в точности, как прочитал вчера утром в рукописи небесной синевы, благоухающей сухой лавандой, с нитями осенней паутины вместо закладок.

Кто не видал Авиньона во времена пап,^[9] тот ничего не видал. Не было другого города, равного ему по веселью, жизнерадостности, ликованию, великолепию празднеств. С утра до вечера крестные ходы, паломники; улицы усеяны цветами, убраны ткаными коврами. На Роне кардинальские лодки с распущенными знаменами, пестрые галеры, на площадях латинские песнопения, распеваемые папскими солдатами, трещотки нищенствующих монахов. А все дома, что столпились вокруг большого папского дворца, жужжали сверху донизу, словно пчелы вокруг улья. Мерно стучали станки кружевниц, сновали челноки, ткущие парчу

для риз, тукали молоточки, чеканившие церковную утварь, звучали деки, прилаживаемые мастерами к инструментам, пели ткачихи. И над всем стоял звон колоколов, а в той стороне, где мост, не умолкали тамбурины. Ведь у нас народ выражает свою радость пляской, обязательно пляской, а в то время улицы были слишком узки для фарандолы, вот флейты и тамбурины и выстраивались вдоль Авиньонского моста, на свежем ронском воздухе, и день и ночь там плясали, да как плясали!.. Ах, счастливая пора! Счастливый город! Алебарды бездействовали, в государственные тюрьмы ставили охлаждаться вино. Ни голода, ни войны... Вот как авиньонские папы умело правили народом! Вот почему народ так о них горевал!..

Особенно об одном славном старичке, по имени Бонифаций... Ох, сколько слез было пролито в Авиньоне, когда он умер! Это был такой приветливый, такой учтивый владыка! Он так ласково всем улыбался, сидя на своем муле! И всех, кто проходил мимо, — все равно, будь то последний красильщик или сам городской судья, — он так любезно благословлял! Настоящий папа из Ивето,^[10] но из Ивето провансальского: хитреца в улыбке, пучок майорана на шапочке и никакой Жаннетон!.. Единственной «Жаннетон» этого доброго пастыря был его виноградник, небольшой виноградник, который он сам насадил в трех милях от Авиньона среди шатонефских мирт.

Каждое воскресенье после вечерни достойный пастырь отправлялся поухаживать за ним, и там, наверху, на солнышке, около своего мула, среди кардиналов, возлежавших между лоз, он откупоривал бутылку местного вина, доброго вина, красного, как рубин, которое с тех пор прозвали папским шатонефом, и пил его, смакуя каждый глоточек и с умилением глядя на виноградник. Затем, когда в бутылке уже ничего не оставалось, а день клонился к вечеру, он весело возвращался в город в сопровождении всего своего капитула. И когда он проезжал по Авиньонскому мосту под звуки фарандолы, его мул, увлеченный музыкой, начинал приплясывать, как иноходец, а сам папа, к великому негодованию кардиналов, помахивал в такт танцу шапочкой. Зато весь народ говорил: «Ах, какой добрый у нас государь! Ах, какой славный у нас папа!»

После шатонефского виноградника папа больше всего на свете любил своего мула. Добряк просто души в нем не чаял. Каждый день перед отходом ко сну он проверял, крепко ли заперта конюшня, вдоволь ли корма в яслях, и никогда не вставал из-за стола, не проследив за приготовлением по французскому рецепту вина с изрядным количеством сахара и пряностей, большую чашу которого он, несмотря на недовольство кардиналов, собственноручно относил мулу... Надо сказать, что мул того

стоил. Это был прекрасный черный мул с рыжими подпалинами, крепкий на ноги, гладкий до лоска, с полным и широким крупом, с гордой и сухой головой, украшенной помпонами, бантами, серебряными бубенцами, кисточками; притом кроток он был, как ангел, глядел бесхитростно и непрестанно шевелил длинными ушами, что придавало ему добродушный вид. У всего города он был в почете, и, когда он проходил по улицам, авиньонцы не знали, чем его уважить, ибо всякий понимал, что это лучший способ попасть в милость и что, несмотря на свой простодушный вид, папский мул облагодетельствовал немало людей — пример тому Тисте Веден и его чудесное приключение.

Этот самый Тисте Веден был, в сущности, дерзкий мальчишка, которого собственный отец, Ги Веден, золотых дел мастер, принужден был выгнать из дому, так как он бездельничал и развращал учеников. Полгода он околачивался по всему Авиньону, но главным образом поблизости от папского дворца: этот плут давно уже имел виды на папского мула, и вы сейчас убедитесь, что придумал он очень хитрую штуку... Однажды его святейшество прогуливался один со своим мулом по крепостному валу; тут-то с ним и заговорил наш Тисте и сказал, сложив в восторге руки:

— Господи боже мой! Святейший отец! Что за прелесть ваш мул!.. Позвольте мне на него полюбоваться... Ах, ваше святейшество, какой красивый мул!.. У самого германского императора и то не найдется такого.

И он гладил мула и говорил с ним ласково, как с барышней:

— Подите сюда, драгоценный мой, сокровище мое, жемчужина моя...

Добрый папа растрогался и подумал:

«Какой милый мальчик!.. Как он ласков с моим мулом!»

А знаете, что случилось на следующий день? Тисте Веден сменил свою старую желтую куртку на красивый кружевной стихарь, фиолетовую шелковую пелерину, туфли с пряжками и поступил в школу папских церковных певчих, куда до того принимались только дворянские сыновья да кардинальские племянники... Вот к чему приводит лесть!.. Но Тисте этим не удовлетворился.

Поступив на службу к папе, бездельник повел ту игру, что так ловко ему удалась с самого начала. Дерзкий со всеми, он был внимателен и предупредителен только с мулом и постоянно попадался всем на глаза во дворе замка то с горстью овса, то с охапкой клевера. Он добродушно потряхивал розовыми цветочками и поглядывал на балкон святого отца, словно говоря: «А кому я это припас?..» Кончилось тем, что добрый папа, чувствуя, что стареет, поручил ему смотреть за конюшней и приносить мулу положенную ему чашу вина, приготовленного по» французски. Все

это не радовало кардиналов.

И мула это тоже не радовало... Теперь в установленный для вина час к нему в конюшню всегда являлось пять-шесть мальчиков-причетников, они быстро зарывались в солому, как были, в пелеринах и кружевных стихарях, потом по конюшне разливался вкусный, теплый аромат жженого сахара и пряностей и появлялся Тисте Веден, неся чашу с вином по-французски. Тут-то для бедного животного и начинались муки.

У мальчиков хватало жестокости приносить сюда, к самой кормушке, и подставлять ему под нос его любимое душистое вино, согревавшее и окрылявшее его, а затем, когда он вдоволь нанюхается, — прощай, только тебя и видели! Чудесный напиток, розовый и искрометный, целиком шел в глотки этих сорванцов... Это бы еще полбеда, если бы они только воровали его вино, но, подвыпив, причетники делались сущими чертенятами!.. Один дергал мула за уши, другой за хвост. Кике садился на него верхом, Белюге примерял ему свою шапочку, и никому из этих озорников и в голову не приходило, что стоит доброму мулу лягнуть или поддать крупом, и все они полетят за облака, а то и подальше... Но этого не случилось! Ведь все-таки это был папский мул — мул, сидя на котором папа раздавал благословения и индульгенции... Что бы мальчишки ни делали, он не сердился; у него был зуб только на Тисте Ведена... Стоило мулу почуять, что Тисте Веден стоит сзади, у него так и чесалось копыто, и, по правде говоря, было от чего. Озорник Тисте сыграл над ним не одну плохую шутку! После выпивки он был падок на жестокие выдумки...

Ведь взбрело же как-то ему на ум потащить с собой мула на колокольню певческой школы, наверх, на самый верх, на самую верхушку дворца!.. Я вам не сказки рассказываю, двести тысяч провансальцев это видели. Представляете себе ужас несчастного мула, когда, целый час прокрутясь впотьмах по винтовой лестнице и взобравшись бог знает на сколько ступенек, он вдруг очутился на площадке, залитой ослепительным светом, а внизу, на тысячу футов под собой, увидел какой-то фантастический Авиньон: на рынке лавки величиной с орех, перед казармой папские солдаты, словно красные муравьи, а дальше на серебряной нити микроскопический мостик, где шла пляска, пляска вовсю... Ах, бедный мул!.. Какого страха он натерпелся! Он так заревел с перепугу, что все стекла во дворце задрожали.

— Что случилось? Кто его обижает? — воскликнул добрый папа, устремляясь на балкон.

Тисте Веден был уже во дворе; он притворился, что плачет и рвет на себе волосы:

— Ах, святой отец! Что случилось? Случилось то, что ваш мул... Господи боже мой! Что с нами будет? Случилось то, что ваш мул взобрался на колокольню...

— Сам???

— Да, святой отец, сам... Вот, взгляните наверх... Видите, торчат кончики ушей?.. Будто две ласточки...

— Боже милостивый!.. — воскликнул бедный папа, поднимая глаза. — Да он, верно, с ума сошел!.. Да он убьется!.. Слезай скорей, несчастный!..

Легко сказать! Он бы и сам рад слезть. Да как? По лестнице — нечего было и думать: влезть — это еще туда-сюда, но слезть — да этак все ноги переломаешь!.. Бедный мул был в отчаянии; он тыкался во все концы площадки, перед глазами у него все ходуном ходило. И он думал о Тисте Ведене:

«Ах, разбойник! Дан мне отсюда выбраться... я тебя завтра утром так угощу копытом!..»

Мысль о том, как он угостит копытом, придала ему немного духу, не то ему, пожалуй, не устоять бы на ногах. В конце концов его стащили сверху, но это было не так-то просто. Пришлось спускать его на веревках, с лебедками, с носилками. Можете себе представить, какой позор для папского мула — висеть на такой высоте, дрыгая ногами в пустом пространстве, словно майский жук на нитке! И на глазах у всего Авиньона!

Несчастный мул всю ночь не сомкнул глаз. Ему мерещилось, будто он все еще кружится по этой проклятой площадке, а внизу потешается весь город. Потом он вспоминал негодника Тисте Ведена и думал о том, как утром угостит его копытом. Ах, друзья мои, как угостит!.. Пыль столбом пойдет, так что в Памперигусте видно будет... А знаете, что делал Тисте Веден, пока в конюшне готовился ему знатный прием? Он с песнями спускался по Роне на папской галере, отправляясь к Неаполитанскому двору вместе с компанией сыновей благородных родителей, которых город ежегодно отсылал к королеве Иоанне^[11] для обучения дипломатическому искусству и учтивому обхождению. Тисте не был сыном благородных родителей, но папа обязательно хотел вознаградить его за заботы о его любимом муле и особенно за усердие, проявленное при его спасении. Каково же было разочарование мула наутро!

«Ах, разбойник! Верно, пронюхал... — думал он, яростно потрясая бубенцами. — Ну все равно, берегись, негодник! Ты свое получишь, лягну, когда вернешься... За мной не пропадет!»

И за ним не пропало.

После отъезда Тисте папский мул снова зажил спокойно. Ни тебе Кике,

ни тебе Белюге. Вернулись светлые денечки с вином по-французски и вместе с ними хорошее настроение, покойный отдых и приплясывание в лад танцу, когда он проходил по Авиньонскому мосту. И все же после того приключения в городе стали относиться к нему холоднее. При виде его шептались; старые люди покачивали головой, ребята хихикали, посматривая на колокольню. Сам добрый папа уже не так доверял своему другу, и, когда по воскресеньям он возвращался со своего виноградника и подремывал в седле, в глубине души у него шевелились сомнения: «А что, как я проснусь наверху, на колокольне?..» Мул видел это и молча страдал. Только когда при нем упоминали о Тисте Ведене, он поводил длинными ушами и, усмехаясь, точил подковы на копытах о камни мостовой.

Так прошло семь лет. По истечении семи лет Тисте Веден вернулся из Неаполя. Срок его обучения еще не истек, но он прослышал, что в Авиньоне внезапно скончался первый папский горчицедатель, и так как должность эта казалась ему завидной, он поспешил стать в число кандидатов.

Когда каверзник Веден вошел в дворцовую залу, святой отец с трудом узнал его, так он вырос и возмужал. Впрочем, надо сказать, что добрый папа состарился и без очков плохо видел.

Тисте не растерялся:

— Как, святейший отец! Вы меня не узнаете?.. Да это я, Тисте Веден!..

— Веден?

— Ну да, помните?.. Тот самый, что носил французское вино вашему мулу.

— А, так, так!.. Припоминаю... Хороший был мальчуган Тисте Веден!.. А теперь что тебе от нас надобно?

— О, пустяки, святейший отец! Я собирался просить у вас... Кстати, ваш мул все еще в добром здоровье?.. Очень рад!.. Я пришел просить вас назначить меня на место покойного первого горчицедателя.

— Первого горчицедателя?.. Да ты слишком молод! Сколько тебе лет?

— Двадцать лет и два месяца, ваше святейшество, я ровно на пять лет старше вашего мула... Ах, боже мой, что за мул!.. Если бы вы знали, до чего я его любил!.. Как я скучал по нем в Италии!.. Разрешите мне повидаться с ним!

— Повидаешься, повидаешься, — сказал добрый папа, умилившись. — Раз ты так любишь моего верного мула, я не хочу вас разлучать. С сегодняшнего же дня ты будешь приставлен к моей особе в качестве первого горчицедателя... Кардиналы завопят, ну и пускай! Я привык... Приходи завтра, когда народ пойдет от вечерни, мы вручим тебе

знаки твоего достоинства в присутствии всего капитула, а затем... я отведу тебя к мулу, и ты отправишься вместе с нами на виноградник... Хе-хе-хе! Ну, ступай!..

Нечего и говорить, как Тисте Веден был доволен, с каким нетерпением ждал он предстоящей церемонии. Однако кто-то во дворце был еще более доволен и с еще большим нетерпением дожидался завтрашнего дня: это был мул. С момента возвращения Ведена и до вечера следующего дня грозный мул все время подкреплялся овсом и бил задними ногами в стену. Он тоже готовился к церемонии...

И вот на следующий день, как отошла вечерня, Тисте Веден явился во двор папского дворца. Все высшее духовенство было в сборе: кардиналы в красных мантиях, адвокат дьявола^[12] в черном бархате, настоятели монастырей в маленьких митрах, члены приходского совета от св. Агрико, фиолетовые певчие из папской капеллы, а также низшее духовенство, папские солдаты в парадной форме, все три братства кающихся, отшельники с горы Ванту, угрюмые с виду, и мальчик-служка, который обычно идет позади с колокольчиком, монахи-флагелланты,^[13] обнаженные до пояса, румяные ризничие в мантиях, как у судей, — все, все, даже церковные служители-и те, что подают святую воду, и те, что зажигают, и те, что гасят свечи, все до единого... Да, это было торжественное посвящение в сан. Колокола, ракеты, солнце, музыка и неугомонные тамбурины — там, на Авиньонском мосту...

Когда Веден появился среди собравшихся, его осанка и приятный облик вызвали шепот восхищения. Это был настоящий провансальский красавец, хотя и блондин, с длинными локонами и с пушистой бородкой, словно из тонких металлических стружек, упавших из-под резца его отца, золотых дел мастера. Шла молва, что не раз этой белокурой бородкой играли пальцы королевы Иоанны. И действительно, у господина де Ведена вид был победоносный, а взор рассеянный, как это и полагается баловню королевы. В честь своей родины он в этот день сменил неаполитанский наряд на куртку, отороченную розовым, по провансальской моде, а на его шапочке трепетало большое перо камаргского ибиса.

Войдя, первый горчицедатель учтиво поклонился и направился к высокому крыльцу, где папа ждал его, чтобы вручить ему знаки, подобающие его сану: ложку из желтого самшита и шафрановую одежду. Мул стоял внизу, у лестницы, в нарядной сбруе, готовый тронуться в путь на виноградник... Проходя мимо, Тисте Веден приветливо улыбнулся, остановился и похлопал его по спине, одним глазком поглядывая на папу.

Момент был удачный... Мул собрался с силами:

— Получай, разбойник! Семь лет прошло, но за мной не пропадет!

И он лягнул его копытом с такой силой, что в самом Памперигусте виден был вихрь золотистой пыли, в котором металось перо ибиса — все, что осталось от несчастного Тисте Ведена!..

Обычно мулы не лягают с такой сокрушительной силой, но это был папский мул! А потом — вспомните! — он ведь дожидался семь лет!.. Не придумаешь лучшего примера клерикального злопамятства.

Сангинерский маяк

Сегодня ночью я не сомкнул глаз. Разбушевался мистраль, и раскаты его зычного голоса до утра не дали мне спать. Мельница вся трещала, тяжело покачивая изувеченными крыльями, в которых, как в снастях на корабле, свистел северный ветер. С ветхой крыши валилась черепица. Вдали частые сосны, которыми порос холм, качались и шумели в темноте. Чудилось, будто ты в открытом море...

Мне вспомнились долгие бессонные ночи, когда я жил три года тому назад на Сангинерском маяке, там, на корсиканском берегу, при входе в залив Аяччо.

Это тоже прекрасное место, чтоб пожить в одиночестве, отдавшись мечтам.

Представьте себе бурый остров, дикий с виду; на одном краю — маяк, на другом — старая гонуэзская башня, где в то время гнезился орел. Внизу, у воды, развалившееся карантинное здание, все поросшее травой. Дальше ложбины, заросли, большие скалы, кое-когда появятся дикие козы, да проскачут низкорослые корсиканские лошадки, распутив по ветру гриву. И, наконец, наверху, на самом верху, где кружат стаей морские птицы, маяк с каменной белой площадкой, по которой взад и вперед расхаживают сторожа; зеленая стрельчатая дверь, чугунная башенка, а на ней, на самом верху, большой граненый фонарь, который горит на солнце и даже днем отбрасывает свет... Вот вам Сангинерский остров, каким он предстал предо мной сегодня ночью, когда я слушал, как стонут сосны. В ту пору, когда у меня не было еще мельницы, я удалялся на этот зачарованный остров, если ощущал потребность в просторе и одиночестве.

Что я там делал?

То же, что и здесь, пожалуй, и того меньше. Когда мистраль или трамонтана дули не очень яростно, я устраивался между двух скал у самой воды, среди чаек, дроздов, ласточек, и почти весь день просиживал в каком-то чудесном оцепенении, в которое впадаешь, созерцая море. Вам, верно, знакомо это восхитительное душевное опьянение? Не думаешь, не грезишь даже. Все твоё существо уходит, отлетает, растворяется. Ты — чайка, купающаяся в море, ты — облако пены, трепещущее в лучах солнца на гребне волны, ты — белый дымок удаляющегося парохода, ты — суденышко под красным парусом, идущее на ловлю кораллов, ты — капля воды, хлопья пены, ты — все, только не ты сам... О, сколько прекрасных

часов провел я у себя на острове в полудремоте, растворившись в окружающем...

В дни сильного ветра, когда на берегу нельзя было выдержать, я забирался во двор карантинного здания, печальный дворик, благоухающий диким розмарином и полынью, и там сидел, приютившись за выступом старой стены, и понемножку меня охватывал неуловимый аромат запустения и грусти, который вместе с солнцем витал над каменными кельями, открытыми со всех сторон, как древние гробницы. Время от времени хлопнет дверь или кто — то легко скакнет в траве... коза, укрывшаяся сюда от ветра и щиплющая траву. Увидев меня, она в недоумении остановится и, насторожившись, подняв рога, поглядит детскими глазами...

Около пяти часов сторожа в рупор звали меня обедать. Я шел крутой тропинкой, затерянной в зарослях над морем, и медленно возвращался к маяку, то и дело оглядываясь, чтобы полюбоваться на необъятный простор воды и света, который, казалось, ширился по мере моего восхождения.

Наверху было чудесно! Как сейчас вижу красивую столовую, выложенную большими плитами, обшитую дубом, дымящуюся уху посреди стола, распахнутую на белую террасу дверь, через которую врывается заходящее солнце... Сторожа уже там, ожидают меня, чтобы сесть за стол. Их трое: марселец и два корсиканца, все трое небольшого роста, бородатые, все трое на одно лицо, загорелые, обветренные, все трое в одинаковых *пелонах* (плащах с капюшоном) козьей шерсти, но каждый со своими вкусами и характером.

По тому, как жили эти люди, сразу чувствовались две разные национальности. Марселец, предприимчивый и шустрый, хлопотун, непоседа, с утра до вечера бегал по острову, садовничал, рыбачил, собирал яйца чаек, залезал в заросли, чтобы мимоходом подоить козу; вечно он что-нибудь стряпал: то жаркое, то похлебку.

Корсиканцы, помимо службы, решительно ничем не занимались. Они считали себя чиновниками и весь день напролет сидели в кухне и дулись в *скопа*, прерывая игру только затем, чтобы с важным видом закурить трубку или нарезать ножницами горстку больших листьев свежего табака.

Впрочем, и марселец и корсиканцы, все трое были люди хорошие, простые, бесхитростные, предупредительные к своему гостю, хотя в душе, наверно, считали его большим чудаком...

Подумать только! Замуровать на маяке по доброй воле!.. А для них дни тянулись так долго, они были так счастливы, когда наступал их черед отправляться на землю!.. Летом это великое счастье выпадает им

ежемесячно. Десять дней на берегу, тридцать дней на маяке — таков установленный порядок, но зима и непогода с установленным порядком не считаются. Ветер дует, волны вздымаются, остров весь белый от пены, дежурные сторожа на два-три месяца отрезаны от мира и иногда оказываются в очень тяжелом положении.

— Вот что раз случилось со мной, со мной лично, сударь, — сказал мне как-то за столом старик Бартоли. — Вот что случилось со мной тому пять лет за этим самым столом, за которым мы сейчас сидим, случилось зимним вечером, вот как теперь. В этот вечер на маяке нас было только двое: я и один товарищ, которого звали Чеко...

Остальные были на суше — кто болен, кто в отпуску, теперь не припомню... Мы спокойно обедали... Вдруг мой товарищ перестает есть, мгновение смотрит на меня чудными глазами и-хлоп-падает на столничком. Я подхожу к нему, тормошу его, зову: — Эй, Че!.. Эй, Че!..

Ни звука! Он мертв... Можете себе представить мой ужас! Больше часа простоял я, оторопев и дрожа, возле покойника, потом меня вдруг осенило: «А маяк!..» Я едва успел подняться к фонарю и зажечь его. Уже наступила ночь... И что за ночь, сударь! И у моря и у ветра голоса были необычные. Каждую минуту мне казалось, будто кто-то кличет меня с лестницы. Да ко всему прочему еще лихорадка и жажда! Но ничто не могло заставить меня сойти вниз... Я слишком боялся покойников. Однако, когда стало светать, я прибодрился. Отнес товарища на кровать, накрыл простыней, пробормотал молитву — и бегом к сигналу бедствия.

К несчастью, море разбушевалось: я звал, звал — никто не явился... И вот я один на маяке с бедным моим Чеко — и бог знает, на какой срок... Я надеялся, что смогу продержат его дома до прихода лодки. Но к концу третьего дня это стало нестерпимо... Как быть? Вынести его на волю? Похоронить? Скалы такие твердые, а на острове столько воронья! Жалко было отдать им на съедение доброго христианина. Тогда я решил снести его в одну из палат карантина... Целый вечер ушел у меня на это печальное занятие, и, поверьте, это мне стоило немало сил. Знаете, сударь, еще и сейчас, когда в сильную бурю я спускаюсь вечером по той стороне острова, мне чудится, будто покойник у меня на спине...

Бедный старый Бартоли! Пот выступил у него на лбу при одном воспоминании.

Так и проходили у нас обеды в долгих разговорах: о маяке, о море, о кораблекрушениях, о корсиканских разбойниках... Потом, когда вечерело, сторож, дежуривший в первую смену, зажигал лампочку, брал трубку,

флягу, объемистый том Плутарха с красным обрезом, составлявший всю библиотеку острова, и исчезал в заднюю комнату. Через минуту по всему маяку поднимался скрип цепей, блоков, тяжелых гирь заводившихся часов.

А я тем временем выходил на террасу посидеть на воздухе. Солнце, стоявшее уже очень низко, все быстрее и быстрее опускалось в воду, увлекая за собой весь горизонт. Ветер свежел, остров становился лиловым. Близко надо мной тяжело пролетала большая птица — это орел возвращался домой, в гемуэзскую башню!.. Постепенно над морем поднималась мгла. Вскоре ничего нельзя было различить, только белую кайму пены вокруг острова... Вдруг у меня над головой загорался сноп мягкого света — это зажигался маяк. Светлый луч, оставляя во тьме весь остров, падал далеко в море, а я сидел затерянный во мгле, под волной света, от которой до меня долетали только брызги... Но ветер все свежел. Пора было возвращаться домой. Ощупью затворял я тяжелую дверь, задвигал железные засовы, потом, все так же ощупью, по чугунной лесенке, гудевшей и дрожавшей у меня под ногами, поднимался вверх. Вот тут было светло.

Представьте себе гигантскую лампу Карселя^[14] с шестью рядами фитилей. Вокруг нее медленно вращаются стенки фонаря; в одни вставлены огромные двояковыпуклые стекла, другие — пустые, они смотрят на большой неподвижный стеклянный колпак, защищающий пламя от ветра... В первую минуту свет всякий раз слепил меня. От меди, олова, жестяных рефлекторов, выпуклых стеклянных стен, вращавшихся большими голубоватыми кругами, от всех этих отблесков, от этого мерцания у меня кружилась голова.

Но мало-помалу глаза привыкали, я усаживался под самой лампой, около сторожа, который, чтобы не заснуть, читал вслух Плутарха...

На воле темь, бездна. По маленькой галерейке, огибающей фонарь, с ревом носится обезумевший ветер. Маяк трещит, море клокочет. Валы с грохотом пушечных залпов разбиваются о берег, набегая на буруны... Порой кто-то невидимый стучит пальцем в стекло: это ударились головой о стеклянный колпак ночная птица, привлеченная светом... В сверкающем раскаленном фонаре потрескивает пламя, капает масло, лязгает, развертываясь, цепь, а монотонный голос нараспев читает жизнеописание Деметрия Фалерского...^[15]

В полночь сторож вставал, в последний раз осматривал фитили, и мы спускались. По лестнице, навстречу нам, поднимался, протирая глаза, сторож следующей смены; ему передавались фляга и Плутарх... Потом,

раньше, чем улечься спать, мы шли в заднюю комнату, загроможденную цепями, гирями, оловянными резервуарами, канатами, и там при свете лампочки сторож вписывал в никогда не закрывавшийся журнал маяка:

Полночь. Море бурно. Шторм. Корабль в открытом море.

Гибель «Резвого»

Раз уж мистралем, бушевавшим прошлой ночью, нас занесло на корсиканское побережье, дайте я расскажу вам страшную морскую быль, которую часто, коротая вечер, вспоминают тамошние рыбаки и чрезвычайно любопытные подробности которой я узнал.

...Тому будет два-три года.

Я бороздил Сардинское море в обществе семи-восьми таможенных матросов. Тяжелое это путешествие для человека непривычного! За весь март не выдалось ни одного погожего дня. Восточный ветер яростно преследовал нас, а разгулявшееся море не унималось.

Как-то вечером мы убегали от бури, и наше судно укрылось у самого входа в пролив Бонифаччо, среди группы небольших островов... Вид их не привлекал: высокие обнаженные скалы, покрытые птицами, кое-где пучок полыни, мастиковые заросли, там и сям в тине гниют обломки дерева. Но, право, все же лучше переночевать на таких угрюмых скалах, чем в рубке ветхого суденышка, до половины покрытого палубой, где волны гуляют, как дома, — вот мы и удовлетворились этим прибежищем.

Не успели мы высадиться, как матросы принялись разводить костер для ухи, а шкипер подозвал меня и, указав на смутно белевшую в тумане каменную ограду на краю острова, спросил:

— На кладбище пойдете?

— На кладбище, шкипер Лионетти? Да где же мы?

— На островах Лавецци. Здесь похоронены шестьсот матросов с «Резвого», на том самом месте, где погиб их фрегат десять лет тому назад... Бедняги 1 Их не часто навещают, пойдёмте поклонимся им, раз уж мы здесь...

— От всего сердца, шкипер!

Грустное же это было кладбище!.. Так и вижу его за низкой оградой, с трудом открывающуюся ржавую, железную калитку, безмолвную часовню и сотни черных крестов, спрятавшихся в траве... Ни одного веночка из иммортелей... Ничего... Бедные, бедные покинутые покойники! Как им должно быть холодно тут, в их случайной могиле!

Мы преклонили колена. Шкипер вслух читал молитву. Огромные морские чайки, одинокие стражи кладбища, кружили у нас над головой, и их резкие крики сливались со стенаниями моря.

Помолившись, мы в грустном раздумье вернулись на тот край острова,

где причалило наше суденышко. Пока мы ходили, матросы не теряли времени. Под прикрытием скалы пылал большой костер, от котелка шел пар. Мы уселись в кружок, ногами к огню, и скоро у каждого на коленях стояла глиняная миска с двумя ломтями черного хлеба, обильно политыми супом. Обед прошел молча: мы вымокли и проголодались, а, кроме того, по соседству было кладбище... Однако, очистив миски, мы закурили трубки и понемногу разговорились. Беседа шла, конечно, о «Резвом».

— Как же это случилось? — спросил я у шкипера; тот, подперев голову руками, задумчиво смотрел в огонь.

— Как случилось? — отозвался Лионетти, громко вздохнув. — Увы, сударь, никто на свете этого не скажет. Знаем только, что «Резвый» с войском для Крыма^[16] на борту вышел из Тулона накануне вечером в плохую погоду. Ночью непогода разыгралась пуще прежнего. Ветер, дождь, море неистовствовали как никогда... Наутро ветер поутих, но море все еще злилось, а тут еще проклятый туман, черт бы его побрал! В четырех шагах сигнального фонаря не видать... Вы даже представить себе, сударь, не можете, что это за предательские туманы... Все равно, я уверен, что «Резвый» уже утром потерял управление, потому что, какой бы туман ни стоял, не случись аварии, капитан не разбился б об эти скалы. Он был испытанный моряк, все мы его знали. Он три года управлял пристанью на Корсике и знал берег не хуже меня, а я ничего другого не знаю.

— А что говорят: в котором часу погиб «Резвый»?

— Должно быть, в полдень... Да, сударь, в самый полдень... Но, господи боже мой, когда на море туман — что в полдень, что ночью, — все равно черным-черно, как у волка в желудке... Один береговой таможенник рассказывал, что в этот день около половины двенадцатого он вышел из дому, чтобы покрепче закрыть ставни, — ветром с него сорвало фуражку, и он бросился за ней вдогонку по берегу на четвереньках, рискуя, что его снесет волной. Понимаете: таможенники — народ небогатый, а фуражка стоит дорого. Так вот, будто бы, подняв голову, он на одну минуту увидел совсем близко в тумане большой корабль без парусов, который гнало ветром на острова Лавецци. Корабль неся быстро-быстро, и таможенник не успел его разглядеть, но по всему видать, это был «Резвый», потому что полчаса спустя пастух с этого острова услышал, как на скалах... Да вот как раз и пастух, легок на помине. Он сам вам и расскажет... Здравствуй, Паломбо!.. Подсаживайся, погрейся немножко. Иди, не бойся.

К нам робко приблизился человек в капюшоне, уже некоторое время бродивший вокруг нашего костра. Я принимал его за кого-нибудь из команды — я не подозревал, что на острове есть пастух.

Это был старик, почти выживший из ума, страдавший цингой, от которой у него так раздулись и вспухли губы, что страшно было глядеть. С великим трудом втолковали ему, о чем шла речь. Тогда, приподняв пальцем больную губу, старик рассказал нам, что действительно в тот день около полудня он, сидя у себя в хижине, слышал ужасающий треск и грохот. Остров был весь залит водой, потому он и не мог выйти, и только наутро, открыв дверь, увидел, что по всему побережью валяются обломки и трупы, выброшенные морем. В ужасе кинулся он к своей лодке и отправился в Бонифаччо за людьми.

Устав от такой длинной речи, пастух сел, и тогда снова заговорил шкипер:

— Да, сударь, этот несчастный старик и оповестил нас. Он со страху чуть не рехнулся. С того самого происшествия он и повредился. Да и было с чего... Можете себе представить: на песке шестьсот трупов, целая груда, вперемешку со щепками и обрывками паруса... Бедняжка «Резвый»!.. Море разбило его вдребезги. Из всех обломков пастух Паломбо еле-еле набрал несколько досок, которые годились на забор вокруг хижины... А люди почти все были изуродованы, искалечены... Жалость брала смотреть на них, как они сцепились целыми гроздьями... Мы нашли капитана в парадной форме, священника в епитрахили, а поодаль, между двумя скалами, лежал молоденький юнга с открытыми глазами. Словно живой. Да нет, какое там! Видно, такая уж у них судьба: ни один не ушел от смерти...

Тут шкипер прервал свою речь.

— Нарди! — крикнул он. — Смотри: костер гаснет!

Нарди подбросил в костер два-три обломка просмоленных досок, они вспыхнули, и Лионетти продолжал:

— Трагичней всего в этой истории вот что... За три недели до катастрофы небольшой корвет, шедший, как и «Резвый», в Крым, погиб почти так же и почти на том же месте, только в тот раз нам удалось спасти экипаж и двадцать обозных солдат, находившихся на борту... Несчастные обозники! Им туго пришлось, сами понимаете! Мы их отвезли в Бонифаччо и два дня держали у себя на берегу... Ну, пообсохли они, поправились и — будьте здоровы! Счастливый путь! Они вернулись в Тулон, а там их опять погрузили и отправили в Крым... Угадайте, на каком корабле?.. На «Резвом», сударь... Мы всех их отыскали, всех двадцать, среди других трупов на этом самом месте... Я собственными руками поднял красавца бригадира с закрученными усами, парижского франта, который в тот раз лежал у меня и все смешил нас своими рассказами... Когда я увидел его здесь, у меня сердце упало... Ах! *Santa madre!*.. [\[17\]](#)

Добряк Лионетти, совсем расстроенный, вытряхнул пепел из трубки и, завернувшись в плащ, пожелал мне спокойной ночи... Матросы еще некоторое время разговаривали вполголоса... Затем, одна за другой, погасли трубки... Все смолкли. Старый пастух ушел... И среди заснувшего экипажа я остался один со своими думами.

Все еще под впечатлением только что слышанного мрачного рассказа я пробовал представить себе несчастный корабль и историю его гибели, единственными свидетелями которой были чайки. Отдельные поразившие меня подробности — капитан в парадной форме, священник в епитрахили, двадцать обозных солдат — помогли мне угадать все перипетии драмы... Я видел фрегат, отправляющийся ночью из Тулона... Вот он покидает порт. Море злится, ветер бушует, но капитан — испытанный моряк, и на борту все спокойны...

Наутро подымается туман. На корабле это вызывает беспокойство. Вся команда наверху. Капитан не сходит с мостика... На нижней палубе, где находятся солдаты, — тьма, духота. Есть больные — они лежат, подложив под голову ранец. Ужасно качает, невысказанно устоять на ногах. Люди разговаривают, сидя на полу кучками, вцепившись в скамьи; приходится кричать, а то не слышно. У некоторых в сердце начинает шевелиться страх... Да и не мудрено, — в этих широтах кораблекрушение не редкость! Обозные — тут, и могут это подтвердить, а то, что они рассказывают, неутешительно. Особенно, как послушаешь бригадира-парижанина, который вечно над всеми подтрунивает; от его шуток мороз по коже подирает:

— Кораблекрушение!.. Да это очень весело! Ледяная ванна, только и всего, а потом нас отправят в Бонифаччо, покушаем дроздов у шкипера Лионетти.

И обозные хохочут...

Вдруг треск... Что такое? Что случилось?

— Руль унесло, — бросает вымокший матрос, бегом пробегающий по нижней палубе.

— Туда ему и дорога! — кричит неугомонный бригадир.

Но никто уже не смеется.

На палубе суматоха. Из-за тумана не видать друг друга. Матросы суетятся, растерянные, ощупью отыскивая дорогу... Руля нет! Управлять судном невозможно... «Резвый» несется по воле волн с быстротой ветра... Как раз в этот момент таможенный чиновник и увидел его. Половина двенадцатого. Впереди фрегата слышится точно пушечный залп... Буруны!.. Все кончено, надежды нет, «Резвого» несет прямо на берег...

Капитан спускается к себе в каюту... Вот он опять на своем посту, но в полной форме... Он хочет умереть в параде.

На нижней палубе перепуганные солдаты молча переглядываются... Больные пробуют приподняться... Шутник бригадир больше не смеется... Открывается дверь, и на пороге появляется полковой священник в епитрахили.

— На колени, братие!

Все повинуются. Громким голосом читает он отходную.

Вдруг ужасный толчок! Крик, вырывающийся у всех, отчаянный вопль, вытянутые руки, судорожно вцепившиеся пальцы, обезумевшие глаза, в которых, как молния, мелькает призрак смерти!

Господи помилуй!..

Так я провел всю ночь. Фантазия вызвала через десять лет после его гибели душу несчастного корабля, обломки которого окружали меня... Вдали, в проливе, бушевала буря, пламя костра пригибали порывы ветра, и я слышал, как у подножия скал, скрипя цепью, прыгало на волнах наше судно.

Таможенники

Судно «Эмилия» из Порто-Веккио, на борту которого я совершил свое мрачное путешествие на острова Лавецци, представляло собой старую таможенную шлюпку, наполовину забранную палубой. Укрыться от ветра, волн и дождя можно было только в крошечной просмоленной рубке, где с трудом умещались стол и две койки. Зато и поглядели бы вы на наших матросов во время непогоды. По лицам текла вода, от вымокших курток шел пар, как от корыта с бельем, и так они, несчастные, проводили в зимнюю пору целые дни, даже ночи, прикорнув на мокрой скамье и дрожа от сырости, потому что на борту нельзя было развести огонь, а до берега часто бывало далеко... И что же вы думаете? Никто не унывал. В самую суровую погоду они были все такие же приветливые, такие же добродушные. А между тем что за безрадостная жизнь у таможенных матросов!

Почти все они семейные, на берегу у них жена и дети, а они месяцами в отсутствии, плавают вдоль опасного побережья. Кормятся сухарями да диким луком. Ни вина, ни мяса, потому что и мясо и вино стоят дорого, а они получают только пятьсот франков в год. Пятьсот франков в год! Сами понимаете, какая у них дома, на берегу, конура, какие босоногие ребятишки!.. Нужды нет! У всех у них довольные лица. На корме перед рубкой стоит большой бак с дождевой водой, из которого пьет команда. Я отлично помню, как, допив последний глоток, каждый матрос опрокидывал кружку и удовлетворенно побрякивал с блаженным выражением, — то и смешило и трогало.

Самым веселым, самым довольным из всех был уроженец Бонифаччо, загорелый и коренастый, по имени Паломбо. Он вечно пел, даже в бурю. Когда вздымались волны, когда с нависшего, потемневшего неба падала крупа и когда все на палубе были начеку, не отпускали шкота, готовясь к шквалу, тут вдруг, среди полной тишины и всеобщей напряженности, спокойный голос Паломбо выводил:

Нет, нет, сеньор!

Страшен позор...

Лизетта просту-ушка

Век будет пасту-ушка.

И пусть налетает шквал, пусть стонет в снастях ветер, пусть треплет и заливают судно — песня не прерывается; словно чайка, качается она на

гребне волны. Порой аккомпанемент ветра делался слишком громким, слов уже нельзя разобрать, но после каждого вала в шуме воды, сбегавшей с палубы, слышится веселый припев:

Лизетта просту-ушка
Век будет пасту-ушка.

И вот как-то, когда ветер и дождь особенно злились, я не услышал его голоса. Это было так необычно, что я высунул голову из рубки:

— Эй, Паломбо! Что ж пения не слышно?

Паломбо не ответил. Он лежал неподвижно под скамьей. Я подошел к нему. У него зуб на зуб не попадал, его трясла лихорадка.

— У него *пунтура*, — с унылым видом скавали его товарищи.

Они называют пунтурой колотье в боку, плеврит. Безграничное свинцовое небо, вымокшее судно, больной в жару, закутанный в старый резиновый плащ, блестящий под дождем, как тюленья кожа, — что могло быть мрачнее? Вскоре от холода, ветра, качки ему стало хуже. Начался бред. Надо было приставать к берегу.

Положив много времени и труда, к вечеру вошли мы В маленькую бухту, пустынную и безмолвную, оживленную только одинокими чайками, кружившимися над ней. Вдоль всего берега вздымались крутые скалы, виднелись непролазные чащи кустарников, темно-зеленые, вечнозеленые. Внизу, у самой воды, белый домик с серыми ставнями — таможенный пост. Среди такой пустыни это казенное строение с номером, словно форменная фуражка с кокардой, производило мрачное впечатление. Сюда-то и внесли бедного Паломбо. Печальное пристанище для больного! Таможенник с женой и детьми обедали у печки. У всех лица были исхудалые, желтые, глаза большие, ввалившиеся от лихорадки. Мать, еще молодая, с грудным ребенком на руках, говоря с нами, дрожала от озноба.

— Ужасный пост, — шепотом сказал мне инспектор. — Приходится каждые два года сменять здешних таможенников. Их изнуряет болотная лихорадка...

Однако надо было раздобыть врача. Врач был только в Сартене, то есть в шести — восьми милях отсюда. Как быть? Матросы выбились из сил; послать кого-либо из детей нельзя, — уж очень далеко. Тогда женщина, выглянув за дверь, крикнула:

— Чекко!.. Чекко!

В дом вошел рослый, складный малый, типичный браконьер, или

бандитто, в коричневом войлочном колпаке и в пелоне из козьей шерсти. Когда мы причалили, я уже заметил его: он сидел на пороге, с красной трубкой в зубах и ружьем между колен. Но при нашем приближении он почему-то скрылся. Может быть, он думал, что у нас на борту жандармы. Когда он вошел, жена таможенника слегка покраснела.

— Это мой двоюродный брат... — сказала она. — Можете быть спокойны, он в зарослях не заплутается.

Затем она поговорила с ним шепотом, указав на больного. Мужчина поклонился, не сказав ни слова. Выйдя за порог, он свистнул собаку и ушел с ружьем на плече, прыгая с камня на камень.

А дети, испуганные присутствием инспектора, быстро справлялись с обедом, состоявшим из каштанов и *брумо* (творога). И, как всегда, запивали обед водой, неизменной водой. А ведь глоток вина был бы не вреден этим малышам. Эх, нужда горькая! Наконец мать пошла их укладывать. Отец засветил фонарь и отправился осматривать берег, а мы уселись у огня, около больного, метавшегося на своей убогой постели, словно он был еще в открытом море, словно его качали волны. Чтоб немного облегчить его страдания, мы грели камни и кирпичи и клали их ему под бок. Раз-другой, когда я подходил к его кровати, больной узнал меня и в знак благодарности с трудом протянул мне руку, широкую, заскорузлую руку, горячую, как те кирпичи, что мы грели на огне...

Печальная ночь! На дворе в сгустившемся мраке разбушевалась непогода — шум, грохот, пенящиеся волны, борьба скал и воды. Порой ветер с моря прорывался в бухту и охватывал наш дом. Это чувствовалось по внезапной вспышке пламени, вдруг озарявшего лица матросов, собравшихся возле печки и глядевших на огонь с тем спокойствием, которое дает привычка к безбрежным просторам и однообразным горизонтам. Время от времени Паломбо тихо стонал. Тогда взоры всех обращались к темному углу, где умирал их несчастный товарищ, вдали от родных, без помощи. Сердце сжималось, слышались тяжелые вздохи. Вот и все, что могло исторгнуть у этих тружеников моря, терпеливых и кротких, сознание их горькой доли. Ни возмущения, ни стачек. Только вздох!.. Впрочем, я ошибаюсь. Проходя мимо меня, чтобы подбросить хворосту в огонь, один из них сказал мне упавшим голосом:

— Сами видите, сударь: наше дело нелегкое!..

Кюкюньянский кюре

Каждый год на Сретение провансальские поэты выпускают в Авиньоне веселую книжку с красивыми стихами и очаровательными сказками. Только что я получил книжку этого года и нашел в ней прелестное фэбль;^[18] чуточку сократив, я попытаюсь вам его перевести... Ну, парижане, приготовьтесь. На этот раз вас угостят изысканным провансальским блюдом...

Аббат Мартен был кюре... в Кюкюньяне.

Он был мягок, как хлеб, чист, как золото, и любил отеческой любовью своих кюкюньянцев. Для него Кюкюньян был бы земным раем, если бы кюкюньянцы радовали его немножко больше. Но увы! Пауки плели паутину в исповедальне, а в светлое христово воскресенье облатки лежали нетронутыми на дне дароносицы. Добрый пастырь исстрадался душой и молил бога смилостивиться и не дать ему умереть, не собрав в лоно церкви свою разбредшуюся паству.

И вы сейчас убедитесь, что бог внял его мольбам.

Однажды, в воскресный день, после чтения евангелия, аббат Мартен вошел на кафедру.

— Братие! — сказал он. — Хотите верьте, хотите нет: прошлой ночью я, недостойный грешник, очутился у врат рая.

Я постучался, и апостол Петр отворил мне!

— Ах, это вы, моя милый господин Мартен? — сказал он. — Каким ветром?.. Чем могу быть полезен?

— Святой апостол Петр! Вы ведаете гроссбухом и ключами. Не скажете ли, если только не сочтете это праздным любопытством, сколько кюкюньянцев у вас в раю?

— Я ни в чем не могу вам отказать, господии Мартен. Присядьте, давайте вместе разберемся.

Апостол Петр взял свой гроссбух, открыл его, надел очки.

— Проверим... Стало быть, кюкюньянцы. Кю... кю... Кюкюньян. Так, нашел... Господин Мартен, голубчик! Страница-то чистая! Ни души... У нас кюкюньянцев не больше, чем рыбьих костей в индюшке.

— Как! Здесь нет ни одного кюкюньянца? Ни одного? Не может быть! Поглядите как следует...

— Ни одного, праведник божий. Поглядите сами, если думаете, что я шучу.

— Ах, я несчастный!

Я затрясся и, сложив руки, взмолился о пощаде. Тогда апостол Петр сказал:

— Поверьте мне, господин Мартен: не стоит так близко принимать это к сердцу, а то как бы с вами удар не приключился. В конце концов вы тут ни при чем. Видите ли, я уверен, что ваши кюкюньянцы постятся положенные сорок дней в чистилище.

— Смилуйтесь, святой Петр! Дайте мне возможность хоть повидать и утешить их.

— Пожалуйста, голубчик... Вот, обуйте поскорей эти сандалии, — дорога туда неважная... Вот так... Теперь ступайте прямо, куда глаза глядят. Видите там, вдали, за углом? Там серебряная дверь, вся усеянная черными крестами... По правую руку... Постучитесь, вам отворят... Прощайте! Будьте здоровы и не унывайте.

Уж я шел, шел!.. Ну и дорога! Только вспомнишь, мурашки по коже бегают. Узенькая тропка, вся в колючках, усеянная сверкающими карбункулами и шипящими змеями, привела меня как раз к серебряной двери.

— Тук! Тук!

— Кто стучится? — спросил голос хриплый и скорбный.

— Кюре из Кюкюньяна!

— Откуда?

— Из Кюкюньяна.

— А!.. Войдите.

Я вошел. Прекрасный ангел с черными, как ночь, крыльями, в сияющих, как день, ризах, с бриллиантовым ключом на поясе, писал, скрипя пером, в большой книге, еще объемистой, чем у апостола Петра...

— Что же вам надобно и чего вы просите? — спросил ангел.

— Светлый ангел господень! Не сочтите это за праздное любопытство, — я хочу знать, есть ли у вас кюкюньянцы.

— Кто?

— Кюкюньянцы, жители Кюкюньяна... Я, видите ли, их пастырь.

— Ага, аббат Мартен! Не так ли?

— К вашим услугам, господин ангел.

— Значит, вы говорите, Кюкюньян...

Ангел открыл и начал перелистывать свой гроссбух, слюня палец, чтобы легче было листать...

— Кюкюньян, — сказал он и глубоко вздохнул. — Господин Мартен! У нас в чистилище нет никого из Кюкюньяна.

— Иисусе Христе! Дева Мария! Святой Иосиф! В чистилище нет никого ив Кюкюньяна! Господи боже мой! Да где же они?

— Э, праведник божий, они в раю! Где же, черт возьми, им еще быть?

— Да я только что оттуда, из рая-то!

— Оттуда?.. Так в чем же дело?

— В чем дело? Их там нет!.. О пречистая мать!..

— Что делать, господин кюре! Раз их нет ни в раю, ни в чистилище, больше им негде быть, как...

— Мать божия! Иисусе, сыне Давидове! Ай-ай — ай! Да статочное ли это дело?.. Уж не солгал ли мне апостол Петр?.. Но ведь петух еще не пропел!^[19].. Ах мы, несчастные! Как же мне идти в рай, раз моих кюкюньянцев там нет?

— Послушайте, бедный господин Мартен: раз вы во что бы то ни стало хотите сами во всем убедиться и собственными глазами посмотреть, в чем тут дело, вот вам тропинка, бегите по ней бегом, если только вы умеете бегать. Налево вам встретятся широкие ворота. Там вы все точно узнаете. Да поможет вам бог!

И ангел закрыл дверь.

То была длинная тропа, вся вымощенная раскаленными угольями. Я шатался, как пьяный, спотыкался на каждом шагу, весь взмок, из всех пор у меня выступил пот, в горле пересохло от жажды... Но благодаря сандалиям, которые одолжил мне добрый апостол Петр, я не спалил себе ног.

Когда я, ковыляя и спотыкаясь, дошел наконец до цели, я увидел по левую руку дверь... Нет, не дверь, а ворота, широкие ворота, распахнутые настежь, как пасть огромной печи. О чада, какая картина! Тут никто не осведомился, как меня зовут. Тут не было никаких списков. Туда, братие, народ валом валит в широко открытую дверь, как вы валите по воскресеньям в кабак.

Пот лил с меня градом, и все-таки я дрожал, меня знобило. Волосы стали дыбом. Я чувствовал запах паленого, горелого мяса, вроде того запаха, что распространяется у нас по Кюкюньяну, когда кузнец Элуа подпаливает во времяковки копыта старому ослу. Я задыхался в этом смрадном, раскаленном чаду. Я слышал ужасные крики, стоны, вопли и проклятия.

— Ну, чего стоишь? Ты что,ходишь или неходишь? — сказал, пырнув меня вилами, рогатый бес.

— Я? Нет, не вхожу. Я праведник.

— Ты праведник?.. Ах ты, пес шелудивый! Так чего же ты сюда

пришел?

— Я пришел... Ах, не спрашивайте, я и так еле на ногах держусь... Я пришел... пришел издалека... с покорной просьбой ответить мне... нет ли... нет ли ненароком здесь кого-нибудь... кого-нибудь из Кюкюньяна.

— А, громы небесные! Не строй из себя дурака! Как будто ты не знаешь, что весь Кюкюньян здесь!

Посмотри, увидишь, старая ворона, как мы их здесь потчует, твоих любезных кюкюньянцев...

И среди ужасного вихря пламени я увидел:

Долговязого Кок-Галина — вы все его знали, братие, — Кок-Галина, что так часто напивался и так часто лупил свою несчастную Клерон.

Я увидел Катарине... потаскушку... с нагло вздернутым носом... ту, что ночевала одна на гумне... Помните, плутишки?.. Но довольно о ней, я и так наговорил лишнего.

Я увидел Паскаля Дуа-де-Пуа, того, что пользовался маслинами господина Жюльена, чтобы давить себе масло.

Увидел Бабе, которая собирала на жнивье колосья и, чтобы поскорее связать сноп, таскала целые охапки из скирд.

Увидел нотариуса Грапази, что так ловко подмазывал колеса своей повозки.

И Дофину, что так дорого торговала водой из колодца.

И Тортильяра, что, встретив меня со святыми дарами, шел своей дорогой как ни в чем не бывало, не снимая шапки и с трубкой в зубах... гордый, будто сам Артабан...^[20] словно ему пес какой повстречался.

И Куло с его Зеттой, и Жака, и Пьера, и Тони...

Взволнованные, побледневшие от страха, слушатели застонали: в настезь открытой преисподней всякий увидал кто отца, кто мать, кто бабу, а кто сестру...

— Вы понимаете, братие, — продолжал почтенный аббат Мартен, — вы понимаете, что так продолжаться не может. Я отвечаю за ваши души, и я хочу, хочу спасти вас от бездны, в которую все вы уже катитесь очертя голову. Завтра же я принимаюсь за работу, обязательно завтра же. А работы будет немало! Вот с чего я начну. Делать — так уж с толком, по порядку. Все пойдет по череду, как в Жонкьере на танцах.

Завтра, в понедельник, я буду исповедовать стариков и старух. Это плевое дело.

Во вторник — детей. С ними я скоро управлюсь.

В среду — парней и девушек. Это, пожалуй, затянется.

В четверг — мужчин. Тут мы мешкать не будем.

В пятницу — женщин. Я скажу: не чешите языком!

В субботу — мельника!.. На него одного целый день ухлопаешь...

Если в воскресенье все будет кончено, лучшего и желать нельзя.

Видите ли. Дети мои, когда хлеб созреет, надо его жать, когда вино нацежено, надо его пить. Ну, довольно о грязном белье, подумаем, как бы его выстирать, и выстирать дочиста.

Да будет с вами милость господня. Аминь!

Сказано — сделано. Белье было выстирано.

С того памятного воскресенья на десять миль вокруг Кюкюньяна разносится благоухание добродетели.

И доброму пастырю, аббату Мартену, счастливому и радостному, прошлой ночью приснилось, будто он в сопровождении всей своей сияющей паствы, идущей с зажженными свечами, в дыму каминов, окруженный певчими, поющими «Тебе бога хвалим», всходит по освещенной дороге в град господень.

Вот вам история кюкюньянского кюре в том виде, как мне передал ее для вас шутник Руманиль,^[21] а он ее слышал от своего веселого приятеля.

Старики

— Письмо, папаша Азан?

— Да, сударь... из Парижа...

Папаша Азан был так горд, что оно пришло из Парижа!.. Он-то был горд, да я нет. Я чувствовал, что из-за этой парижской штучки с улицы Жан-Жак, сегодня спозаранку нежданно-негаданно свалившейся ко мне на стол, у меня пропадет весь день. Я не ошибся... Судите сами:

«Голубчик! Сделай милость, запри на день твою мельницу и сейчас же отправляйся в Эгьер... Эгьер-большое село в трех-четырех милях от тебя, просто прогулка. Там спросишь сиротский приют. Первый дом за приютом — низенький домик с серыми ставнями, за домом — садик. Входи, не постучавшись. — дверь не заперта, — а войдя, громко крикни: «Здравствуйте, добрые люди! Я друг Мориса...» Тут ты увидишь двух старичков, стареньких-престареньких, они раскроют тебе объятия из своих глубоких кресел, а ты их расцелуешь за меня от всего сердца, как если б это были твои старики. Потом у вас пойдут разговоры, они будут рассказывать обо мне, только обо мне. Наговорят тебе всяких пустяков, а ты выслушаешь их без смеха... Не будешь смеяться, а?.. Это мои дедушка с бабушкой, два существа, для которых вся жизнь во мне, а не видали они меня уже десять лет... Десять лет — срок изрядный! Но что поделаешь! Меня держит Париж, их — преклонный возраст... Они так стары, что если соберутся повидать меня, то, чего доброго, еще рассыплются дорогой... К счастью, мой милый мельник, ты там, и, обнимая тебя, мои добрые старики будут думать, что обнимают меня... Я так часто говорил им о нас и той тесной дружбе, которая...»

Черт побери дружбу! Как раз сегодня утром погода была прекрасная, но не для того, чтобы гонять по дорогам; чересчур ветренная и чересчур солнечная, типичный для Прованса день. Когда пришло это проклятое письмо, я уже наметил себе *каньяр* (убежище) между двумя скалами и мечтал провести там весь день, как ящерица, упиваясь светом, слушая пение сосен... Но что ты будешь делать? Ворча, запер я мельницу, подсунул ключ под дверь. Палку в руки, трубку — и в путь.

В Эгьер я попал к двум часам. В деревне было пусто, весь народ на поле. На придорожных вязах, белых от пыли, стрекотали цикады не хуже, чем в Кро. Правда, на площади около ратуши грелся на солнышке осел, на церковном колодце сидела стая голубей, но не было ни души, чтобы указать

мне сиротский приют. К счастью, передо мной вдруг предстала старая волшебница — она пряла, примостившись на пороге. Я сказал ей, что мне надобно, а волшебница оказалась могущественной: стоило ей поднять веретено, и передо мной, как по волшебству, встал сиротский приют... Это был большой дом, темный и хмурый, горделиво выставивший над готическим порталом старый крест из красного песчаника с несколькими латинскими словами вокруг. Рядом с этим домом я увидел другой, поменьше. Серые ставни, за домом садик... Я сразу узнал его и вошел, не постучав.

Всю жизнь буду помнить длинный коридор, прохладный и мирный, стены, покрашенные розовой краской, садик, трепетавший сквозь светлую штору в конце коридора, по всему бордюру вылинявшие букеты и скрипки. Мне казалось, будто я попал к какому-нибудь провинциальному судье времен Седена...^[22] В конце коридора, налево, сквозь приоткрытую дверь слышалось тиканье стенных часов и детский голосок, читавший по складам, как в школе:

— Тог... да... свя... той... И... ри... ней... вое... клик... нул: «Я... пше... ни... ца... гос... под... ня... Дол... жно... мне... быть... пе... ре... мо... ло... тым... зу... ба... ми... сих... зве... рей».

Я потихоньку подошел к двери и заглянул.

В мирном полумраке комнаты в глубоком кресле спал, открыв рот, положив руки на колени, старичок с розовыми щечками, весь в морщинах до самых кончиков пальцев. У его ног девочка в синем платье, в большой пелерине и маленьком чепчике, как ходят приютские сиротки, читала по книге, которая была вдвое больше, чем она сама, «Житие св. Иринея». Чудодейственное ее чтение сказывалось на всем доме. Старик спал в своем кресле, мухи — на потолке, канарейки — в клетках на окне, большие часы на стене храпели: тик-так, тик-так. Во всей комнате не спала только длинная полоса света, белая и прямая; она падала сквозь щели в ставнях и вся искрилась пылинками, кружившимися в бесчисленных малюсеньких хороводах... Среди всеобщей дремоты девочка с важным видом читала:

— Сей... час... же... два... льва., на... бро... си... лись... на... не... го... и... по... жра... ли...

В это мгновение я вошел... Появление в комнате львов св. Иринея не вызвало бы такого переполоха. Совсем как в театре! Девочка вскрикивает, книга падает, канарейки, мухи просыпаются, часы бьют, старик в испуге вскакивает, а я, тоже смутившись, остаиваюсь на пороге и громко кричу:

— Здравствуйте, добрые люди! Я друг Мориса.

Если бы вы только видели бедного старика, если бы вы видели, как он раскрыл мне свои объятия, как расцеловал меня, как он жал мне руки, как суетился по комнате, восклицая:

— Господи боже мой! Господи боже!..

Каждая морщинка на его лице сияла. Он покраснел. Он залепетал:

— Ах, сударь мой!.. Сударь мой!..

Потом побежал к дверям и позвал:

— Мамочка!

Скрипнула дверь, в коридоре, словно мышка, шмыгнула... и появилась Мамочка. Нельзя себе представить ничего милее этой старушки в чепце с рюшами, в коричневом платье, с вышитым платочком в руке, который она взяла в мою честь, как то полагалось по старинной моде... До чего умилительно они были похожи друг на друга! Будь у него букли и чепец с желтыми рюшами, его тоже можно было бы назвать Мамочкой. Только подлинная Мамочка, верно, вдоволь наплакалась на своем веку, и морщин у нее было куда больше. При ней тоже была уютная сиротка — маленький страж в синей пелерине, никогда не оставлявший ее одну. Нельзя было себе представить ничего трогательнее этих двух старичков на попечении сироток-синявочек.

Войдя, Мамочка сделала мне церемонный реверанс, но старик сразу положил конец церемониям:

— Это друг Мориса...

А она задрожала, расплакалась, уронила платочек, покраснела, да как еще покраснела, покраснела сильнее, чем он!.. Ох уж эти мне старики! И крови-то у них всего несколько капель, а чуть разволнуются, и она сейчас же бросается им в лицо...

— Скорей, скорей подай стул!.. — говорит старушка своей сиротке.

— Отвори ставни!.. — кричит старичок своей.

И оба, взяв меня с двух сторон за руки, засеменили к окну и распахнули его настежь, чтобы получше меня рассмотреть. Придвинули кресла, я устроился между ними на складном стуле, синявочки позади нас, и начался допрос:

— Как он поживает? Что подделывает? Почему не приезжает? Доволен ли?..

И пошло, и пошло — и так без конца.

Я отвечал, как мог, на все их вопросы, рассказывал о своем приятеле мельчайшие подробности, если их знал, без зазрения совести придумывал то, чего не знал, пуще всего боялся проговориться, что так и не заметил, крепко ли закрываются у него окна и какого цвета обои в спальне.

— Обои в спальне?.. Голубые, сударыня, светло-голубые с гирляндами...

— В самом деле? — умилялась бедная старушка и прибавляла, обернувшись к мужу: — Хороший он у нас мальчик!

— Ой, какой хороший мальчик! — с восторгом подхватывал он.

И все время, пока я рассказывал, они кивали головой, многозначительно улыбаясь, подмигивая с понимающим видом, а то еще старичок наклонялся ко мне и шептал:

— Говорите погромче... она туга на ухо...

И она тоже просила:

— Погромче, пожалуйста!.. Он не очень хорошо слышит...

Тогда я повышал голос, и оба благодарили меня улыбкой, и в этих померкших улыбках, с которыми они наклонялись ко мне, стараясь в глубине моих глаз отыскать образ своего Мориса, я, растроганный до слез, находил его образ, смутный, неясный, почти неуловимый, словно мой Друг улыбался мне издали сквозь дымку.

Вдруг старичок встрепенулся:

— Мамочка, как это я упустил!.. Он, верно, не завтракал?

Мамочка засуетилась, всплеснула руками:

— Не завтракал!.. Господи боже мой!

Я думал, что разговор все еще идет о Морисе, и собирался уже ответить, что этот хороший мальчик никогда не садится за стол позже полудня. Но, оказывается, это касалось меня. Надо было видеть, что за суматоха поднялась, когда я признался, что вышел из дома натоцкал.

— Синявочки, скорее прибор! Стол на середину комнаты, воскресную скатерть, тарелки в цветочках, и что это еще за смешки, скажите на милость! Да поворачивайтесь живее...

Уж и поворачивались же они — не успели разбить и трех тарелок, как завтрак был на столе.

— Чем бог послал, — сказала Мамочка, подводя меня к столу. — Только вам придется кушать одному... Мы уже успели закусить утром.

Бедные старички! В котором часу к ним ни зайдешь, — они всегда уже успели закусить утром.

На сей раз бог послал, как выражалась Мамочка, стакан молока, финики и *баркстту*, то есть что-то вроде пышки; ей с канарейками этого за глаза хватило бы на неделю... И подумать только, что я один управился со всем угощением!.. Зато и негодование же поднялось вокруг! Синявочки шушукались, подталкивали друг друга локтем, а наверху в клетке канарейки, казалось, перешептывались: «Ой, как бы этот господин не съел

сейчас всей баркетты!»

Так оно и вышло: я съел ее всю и даже не заметил, — я был поглощен созерцанием этой комнаты, светлой и мирной, оваянной ароматом старины... Были там две кровати, от которых мне особенно трудно было отвести взгляд. Я представлял себе эти маленькие, как колыбельки, кровати утром, когда светает, когда еще задернут над ними большой полог с бахромой. Бьет три. Старики обычно просыпаются в этот час.

— Мамочка! Ты спишь?

— Нет, голубчик.

— Правда, Морис — хороший мальчик?

— Ну, конечно, он у нас очень хороший мальчик.

И при виде этих двух стариковских кроваток, стоявших рядышком, я придумывал целый разговор в том же духе...

А меж тем в другом конце комнаты, перед шкафом, происходила настоящая драма. Надо было достать с верхней полки бутылку с пьяными вишнями, уже десять лет ожидавшуюся Мориса, а нынче ее решили откупорить в честь меня. Несмотря на Мамочкины уговоры, старик непременно хотел сам достать эти вишни и, к великому ужасу жены, взобравшись на стул, пытался дотянуться до верхней полки... Надо было видеть эту картину: старичок дрожа подымается на цыпочках, синявочки вцепились в стул, Мамочка за его спиной, трепеща, протягивает руки, и все оваяно легким запахом бергамота, идущим от открытого шкафа, где сложено большими стопками белье из сурового полотна... Ну что за прелесть!

Наконец после больших усилий заветная бутылка была извлечена из шкафа, а заодно и старый, весь погнутый, серебряный бокал — бокал Мориса, когда он был еще мальчиком. Его доверху наполнили вишнями. Морис так любил вишни!.. Угощая меня, старик шептал мне на ухо с видом лакомки:

— Ваше счастье, что вам довелось их покушать!.. Жена сама приготавливала... Вот Сейчас отведаете вкусного-превкусного!

Увы! Жена сама их приготовила, но позабыла положить сахар. Что поделаешь, с годами слабеет память. Бедная Мамочка! Ваши вишни были ужасны... Но я съел их все до последней, не поморщившись.

После завтрака я встал и начал прощаться. Им хотелось удержать меня подольше и еще потолковать о своем хорошем мальчике, но уже темнело, до мельницы далеко, пора было уходить.

Старик поднялся вместе со мной.

— Мамочка, дай сюртук!.. Я провожу гостя до площади.

В глубине души Мамочка, разумеется, считала, что провожать до площади рискованно — ведь уже стало прохладно, но она и виду не подала. Только, помогая ему сунуть руки в рукава его парадного, цвета испанского табака редингота с перламутровыми пуговицами, она шепнула:

— Ты вернешься не очень поздно, да?

А он ответил с лукавой улыбкой:

— Хе-хе, не знаю!.. Все возможно...

Потом они посмотрели друг на друга и засмеялись. И синявочки тоже засмеялись; видя, что смеются они, засмеялись на свой манер и канарейки у себя в клетке... Между нами говоря, я думаю, что от запаха вишен они все немного захмелели.

Когда мы с дедушкой вышли, уже темнело. Его синявочка шла за нами на некотором расстоянии, но он не видел ее, он был горд, что шагает под руку со мной, как мужчина с женщиной. Мамочка сияла, глядя на нас с порога, и ласково покачивала головой, словно говоря: «Ишь ты, муженек-то мой!.. Еще хоть куда!»

Баллады в прозе

Сегодня утром, открыв дверь, я увидел, что вокруг моей мельницы все бело от инея. Трава сверкала и хрустела, как стекло. Весь мой холм дрожал от стужн... На один день милый мой Прованс прикинулся севером. И, глядя на сосны, опушенные инеем, на кусты лаванды, зацветшие хрустальными цветами, я написал эти две баллады в несколько германском духе, а вокруг меня искрилась белыми блестками изморозь, и в ясном небе журавли, прилетевшие с родины Генриха Гейне, большими треугольниками спускались к Камарге с криком: «Мерзнем!.. Мерзнем!..»

1. Смерть дофина

Маленький дофин занемог, маленький дофин умирает... Во всех церквах королевства день и ночь не убираются святые дары, теплятся огромные свечи, возносятся молитвы о здравии царственного ребенка. Улицы древней столицы угрюмо молчат, колокола не звонят, экипажи движутся шагом... У входа во дворец любопытствующие горожане глазеют сквозь решетку на привратников с расшитым золотом пузом, важно беседующих во дворе.

Весь замок в волнении. Камергеры, мажордомы снуют вверх и вниз по мраморным лестницам. На галерее толпятся пажы и придворные в шелковых кафтанах; они переходят от группы к группе и шепотом сообщают новости... На широком крыльце заплаканные фрейлины церемонно приседают друг перед другом, утирая глаза красивыми вышитыми платочками.

В зимнем саду собрался весь синклит-медики в докторских мантиях. Сквозь стекла видно, как они потрясают длинными черными рукавами и с глубокомысленным видом кивают пудренными париками в буклях... Воспитатель и шталмейстер маленького дофина прохаживаются перед дверью, ожидая решения ученого собрания. Поварята пробегают мимо и не отвешивают поклона. Г-н шталмейстер ругается так, что чертям тошно, г-н воспитатель декламирует стихи Горация... А издалека, со стороны конюшен, доносится долгое жалобное ржание. Это гнедая лошадка маленького дофина — конюхи позабыли о ней, и она печально и призывно ржет, стоя у пустых яслей.

А король! Где его величество король?.. Король заперся один в отдаленной комнате дворца... Венценосцы не любят, чтобы видели их слезы... Не то королева... Она сидит у изголовья маленького дофина, прекрасное лицо ее залито слезами, она громко рыдает при всех, как простая ткачиха.

На кружевной постели покоится маленький дофин Его глаза закрыты. Он блее подушек. Можно подумать, что он спит. Но нет, маленький дофин не спит... Он поворачивается к матери и, видя ее слезы, говорит:

— Маменька королева! Почему вы плачете? Неужели вы и вправду думаете, что я помру?

Королева хочет ответить. Рыдания душат ее.

— Не плачьте, маменька королева! Вы забываете, что я дофин, а

дофины так не умирают...

Королева рыдает еще сильнее, и маленькому дофину становится страшно.

— Нет, — говорит он, — не хочу, чтоб за мной пришла смерть, я не пущу ее сюда... Сейчас же расставить караул вокруг нашей постели, сорок самых сильных ландскнехтов!.. Днем и ночью держать наготове под нашими окнами сто больших пушек с зажженными фитилями! Несдобровать тебе, смерть, если посмеешь приблизиться к нам!..

В угоду царственному ребенку королева подает знак. И вот по двору с грохотом катятся пушки, и сорок рослых ландскнехтов, сжимая в руках протазаны, выстраиваются вокруг покоев дофина. Все старые рубаки с седыми усами. Увидя их, маленький дофин захлопал в ладоши. Одного он узнал и подзывает к себе:

— Лорен! Лорен!

Старый солдат подходит к кровати.

— Я очень тебя люблю, голубчик Лорен... Покажи мне твою большую саблю... Если смерть придет за мной, ты ее убьешь? Скажи: ведь убьешь?

Лорен отвечает:

— Да, ваше высочество...

И по его обветренным щекам катятся две крупные слезы.

В эту минуту к маленькому дофину подходит королевский духовник и долго шепотом наставляет его, указывая на распятие. Маленький дофин слушает с большим удивлением, затем вдруг перебивает:

— Я понимаю все, что вы говорите, господин аббат, но скажите: разве нельзя дать много-много денег моему другу Беппо, чтобы он умер вместо меня?..

Духовник продолжает шепотом наставлять его, и выражение лица у маленького дофина становится все более удивленным.

Когда духовник замолкает, маленький дофин говорит, глубоко вздыхая:

— Все, что вы рассказываете, господин аббат, очень грустно. Одно только утешение — что там, наверху, в звездном раю, я все же буду дофином... Я знаю: бог мне родня и, конечно, примет меня соответственно моему сану.

Потом он прибавляет, обращаясь к матери:

— Пусть принесут мне самое нарядное одеяние, камзол на белом горностае и бархатные туфли! Я хочу предстать перед ангелами во всем блеске и в одежде дофина вступить в рай.

И в третий раз духовник наклоняется к маленькому дофину и долго шепотом наставляет его... Царственный ребенок гневно прерывает его

речь.

— Так зачем же тогда быть дофином? — кричит он.

Не желая больше слушать, маленький дофин отворачивается к стене и горько плачет.

2. Супрефект на лоне природы

Г-н супрефект совершает поездку. Коляска супрефекта важно катит на сельскохозяйственный конкурс в Комб-о-фе: на козлах — кучер, на запятках-лакей. Для такого знаменательного дня г-н супрефект в парадном мундире, в панталонах с серебряными лампасами, при треуголке и шпаге с перламутровой рукояткой, которую он носит в торжественных случаях... На коленях у него покоится огромный портфель тисненой шагреновой кожи, на который он с грустью взирает.

Г-н супрефект с грустью взирает на свой портфель тисненой шагреновой кожи; он обдумывает торжественную речь, с которой ему предстоит выступить перед жителями Комб-о-фе.

«Милостивые государи и любезные мои подопечные...»

Но напрасно он теребит шелковистые белокурые свои бакенбарды и в двадцатый раз повторяет:

— Милостивые государи и любезные мои подопечные...

Дальше речь не идет...

Дальше речь не идет... В коляске так жарко!.. До самого горизонта под жгучим южным солнцем пылится дорога... Воздух пышет огнем... На белых от пыли придорожных вязах стрекочут тысячи цикад... Вдруг г-н супрефект встрепенулся. В стороне, под пригорком, он приметил зеленый дубовый лесок, который словно манит его.

Зеленый дубовый лесок словно манит его:

— Сюда, сюда, господин супрефект! Здесь, в тени, вам куда будет лучше обдумывать речь...

Г-н супрефект поддался соблазну, оставил коляску и приказал его дожидаться, пока он обдумает речь в зеленом дубовом лесочке.

В зеленом дубовом лесочке пичужки, фиалки, ручьи в мураве... Увидев г-на супрефекта в нарядных панталонах, с портфелем тисненой шагреновой кожи, пичужки с испугу прервали свой щебет, ручьи уже не смели журчать, а фиалки спрятались в траву... Здесь, в лесу, не видали дотоль супрефекта и теперь шептались, недоумевая, кто этот знатный вельможа в серебряных панталонах.

Шептались в листве, недоумевая, кто этот знатный вельможа в серебряных панталонах... А меж тем г-н супрефект, в восторге от тишины и свежести леса, приподнял фалды мундира, положил треуголку на траву и сел у подножия дубка на мягкий мох, затем разложил на коленях огромный

портфель тисненой шагреновой кожи и вынул оттуда большой-пребольшой лист плотной бумаги.

— Он поэт! — решила малиновка.

— Нет, — сказал снегирь, — не поэт. Раз он в серебряных панталонах — он принц.

— Он принц, — сказал снегирь.

— Он не поэт и не принц, — перебил их старый соловей, который как-то пропел всю весну в садах супрефектуры, — я знаю, кто он: супрефект.

И в лесочке все зашептались:

— Он супрефект! Супрефект!

— Какой он плешивый! — заметил хохлатый жаворонок.

Фиалки спросили:

— А злой он?

— А злой он? — спросили фиалки.

И старый соловей ответил:

— Ни капли!

И, поверив ему, пичужки снова запели, ручьи зажурчали, фиалки заблагоухали, как если бы не было вовсе среди них супрефекта... Весь этот гомон лесной не тронул г-на супрефекта; он призывает музу земледельческих объединений и, подняв карандаш, начинает торжественно речь:

— Милостивые государи и любезные мои подопечные...

— Милостивые государи и любезные мои подопечные, — начал торжественно речь г-н супрефект...

Громкий смех прервал его речь. Он обернулся и увидел большого зеленого дятла, который, скакнув на его треуголку, смотрел на него и смеялся. Г-н супрефект плечами пожал и собрался было продолжать свою речь, но дятел его снова прервал и издали крикнул ему:

— К чему это?

— Как к чему? — покраснев, сказал супрефект.

Спугнув движением руки нахальную птицу, он с новым рвением продолжал свою речь.

— Милостивые государи и любезные мои подопечные... — с новым рвением продолжал свою речь г-н супрефект.

Но тут потянулись к нему на своих стебельках малютки-фиалки и тихонько шепнули:

— Господин супрефект, господин супрефект, понюхайте, как сладко мы пахнем!

И ручьи подо мхом зажурчали так мелодично, в ветвях над самой его

головой малиновки прощепетали ему свои лучшие песни, и весь зеленый лесок словно сговорился, чтоб помешать ему сочинить его речь.

Весь зеленый лесок сговорился, чтоб помешать ему сочинить его речь... Г-н супрефект разомлел от благоуханий, опьянел от мелодий — он не в силах бороться с очарованием, которое его охватило. Он прилег на траву, расстегнул свой красивый мундир, пробормотал еще два-три раза:

— Милостивые государи и любезные мои подопечные... Милостивые государи и любезные мои... Милостивые государи и...

Потом он к черту послал любезных своих подопечных, и музе земледельческих объединений пришлось удалиться.

Удались же, о муза земледельческих объединений!..

Когда через час слуги, беспокоясь о г-не супрефекте, вошли в зеленый лесок, они с ужасом отступили, увидев такую картину: г-н супрефект, лежа на животе, словно беспутный поэт, растянулся в траве. Он скинул мундир... и сочинял стихи, покусывая фиалки.

Портфель карикатуриста Биксиу

Как-то утром, в октябре месяце, за несколько дней до моего отъезда из Парижа, ко мне вошел, когда я завтракал, пожилой человек в поношенной, забрызганной грязью одежде, с болтающимися на коленях брюками, сутулый, озябший, длинноногий, похожий на голенастую, обципанную птицу. Это был Биксиу. Да, парижане, ваш любимец Биксиу,^[23] злой и очаровательный Биксиу, тот самый заядлый зубоскал, что так смешил вас своими памфлетами и карикатурами... Ах, бедняга, какой жалкий вид! Не скорчи он, входя, гримасы, я бы нипочем его не узнал.

Склонив на плечо голову, взяв в зубы трость, словно кларнет, прославленный мрачный шутник, прошел на середину комнаты, к самому столу, и заговорил жалобным голосом:

— Подайте слепенькому!..

Он так искусно изобразил слепого, что я не мог удержаться от смеха. Но он сказал мне холодно:

— Вы думаете, я шучу?.. Посмотрите на мои глаза.

Он повернулся ко мне, и я увидел два больших белых незрячих глаза.

— Я ослеп, голубчик, ослеп на всю жизнь... Вот что значит писать серной кислотой. Я сжег себе глаза на атом милом ремесле, и основательно сжег... до самой розетки! — прибавил он, показывая мне свои опаленные веки без единой реснички.

Я был потрясен и не знал, что сказать. Мое молчание его встревожило:

— Вы работаете?

— Нет, Биксиу, завтракаю. Не хотите ли присоединиться?

Он не ответил, но по тому, как расширились у него ноздри, я сразу понял, что ему до смерти хочется принять мое приглашение. Я ваял его за руку и усадил рядом с собой.

Пока ему накрывали, бедняга, посмеиваясь, приняхивался.

— Все как будто очень вкусно. Полакомлюсь. Ох, как давно я не завтракал! Утром проглочу булочку и начинаю обход министерств... Да, знаете ли, я обхожу теперь министерства — это стало моей единственной профессией. Пытаюсь подцепить где-нибудь табачную торговлю... Что поделаешь! Надо кормить семью. Рисовать я теперь не могу, писать не могу... Диктовать?.. Но что?.. В голове у меня пусто, выдумывать я не умею. Мое дело было подмечать гримасы Парижа и передавать их, а теперь это невозможно... Вот я и подумал о табачной торговле... ну, разумеется,

не на Бульварах. На такую милость я не смею рассчитывать, — кто я? Не мамаша балерины, не вдова штаб-офицера. Нет, мне бы просто захолустную лавчонку где-нибудь подальше, в глуши Вогезов. Заведу я себе толстую фарфоровую трубку, буду зваться Гансон или Зебеде, как у Эркман-Шатриана, и стану утешаться, клея пакеты для табака из произведений моих современников, раз уж сам я писать не могу.

Вот все, о чем я прошу. Желание скромное, не так ли?.. Да черта с два получишь!.. А кажется, что-что, а протекция у меня найдется. В свое время я был в моде. Обедал у маршала, у принца, у министров; все эти господа приглашали меня наперебой — одни потому, что я смешил их, другие потому, что боялись меня. Теперь никто меня не боится. Ох, глаза, бедные мои глаза! И никуда меня больше не приглашают. Невеселая картина — слепой за столом... Передайте мне, пожалуйста, хлеб... Ах, мошенники! Дорого мне обойдется табачная лавчонка. Вот уж полгода я обиваю пороги министерств. Прихожу спозаранку, когда еще растапливают печи и по двору вываживают лошадей его превосходительства, а ухожу, как стемнеет, как внесут большие лампы, а из кухонь потянет приятным духом.

Вся моя жизнь проходит в передних, на ларях с дровами. Швейцары меня уже все знают, будьте покойны! В министерстве внутренних дел меня зовут «славный барин». А я, чтобы заручиться их расположением, сочиняю каламбуры или одним махом вывожу где —нибудь на уголке бювара огромные усищи, а они смеются... Вот к чему я пришел после двадцати лет шумного успеха, вот как кончается жизнь художника!.. И подумать только, что во Франции сорок тысяч бездельников, у которых при мысли о нашей профессии слюнки текут! Подумать только, что ежедневно во всех департаментах разводят пары локомотивы для того, чтобы доставить сюда к нам кучу дураков, жаждущих известности и славы!.. Ах, романтическая провинция, да послужит тебе в назидание нужда Биксиу!

Сказав это, он уткнулся в тарелку и с жадностью накинулся на еду... Жалко было смотреть на него. То и дело он терял хлеб, вилку, ощупью искал стакан. Бедняга! Он не привык еще к слепоте.

Немного погодя он снова заговорил:

— А знаете, что для меня всего ужаснее? Я не могу читать газеты. Надо быть профессионалом, чтобы понять это... Иногда вечером, возвращаясь домой, я покупаю газету просто для того, чтобы вдохнуть запах влажной бумаги и свежих новостей... Это так приятно! И никого-то нет, кто бы мне почитал. Жена могла бы, но ей неохота: она уверяет, что в дневнике происшествий обязательно попадутся неприличные вещи... Ох уж эти бывшие содержанки: как вышли замуж, нет больших недотрог, чем

они! Как только моя стала мадам Биксиу, так сейчас же сочла себя обязанной сделаться святошей, да еще какой!.. Ведь она хотела заставить меня промывать глаза салетской водой. А потом облатки, ясли, сбор денег на китайчат — всего не перескажешь... Влезла по самые уши в добрые дела... А ведь почитать мне газету — тоже доброе дело! Так вот нет же, не хочет!.. Будь дочка дома, дочка бы мне почитала, но с тех пор как я ослеп, я поместил ее в приют Нотр-Дам-дез-Ар, чтобы дома ртом меньше было...

И с ней тоже мне мало радости! Живет на свете всего девять лет, а уже всеми болезнями переболела... А какая унылая, какая некрасивая, хуже меня, если это только возможно!.. Одним словом, рожа!.. Что поделаешь! всю жизнь я только карикатуры и создавал... И я тоже хорош, занимаю вас своими семейными делами. Вам-то они ни с какой стороны не интересны... Ну, дайте мне еще немножко водки. Мне надо себя взвинтить. От вас я пойду в министерство народного просвещения, а тамошних швейцаров не так-то легко рассмешить. Все бывшие учителя.

Я налил ему водки. Он пил ее маленькими глоточками, с умильным видом... Вдруг — не знаю, какая муха его укусила, — он встал со стаканом в руке, глядя незрячими глазами, повел во все стороны своей змеиной головкой, потом с любезной улыбкой человека, который хочет произнести речь, пронзительным голосом, словно собираясь говорить на банкете на двести человек, выкрикнул:

— За искусство! За литературу! За прессу!

Затем он произнес десятиминутный тост — самую сумасбродную, самую поразительную импровизацию, когда-либо возникавшую в мозгу этого гаера.

Представьте себе обозрение за год, озаглавленное «Литературная сточная канава за 186...», наши так называемые литературные собрания, наше пустословие, дразги, весь наш вздорный, сумасшедший мир, чернильную муть, ад, но без его величия, мир, где душат, потрошат, грабят друг друга, где куда больше, чем в буржуазной среде, говорят о наживе и грошах, что не мешает умирать там с голоду чаще, чем где бы то ни было, все наши подлости, все наши гнойники. Вот старый барон Т... де ла Томбола в васильковом фраке ковыляет в Тюильри и стоит там с протянутой рукой. Вот наши покойники за весь год, помпезные похороны, официальное надгробное слово, каждый раз одно и то же: «Дорогой, незабвенный друг! Бедный дорогой наш друг!» И это слово над гробом несчастного, за могилу которого не желают заплатить. Вот те, что покончили с собой, вот те, что сошли с ума, — вообразите себе все это, рассказанное со всеми подробностями, с выразительными жестами

талантливым карикатуристом, и тогда вы получите представление об импровизации Биксиу.

Произнеся тост и осушив стакан, он спросил меня, который час, и ушел с злым видом, не попрощавшись... Не знаю, как подействовал его сегодняшний визит на швейцаров г-на Дюрюи; знаю только, что никогда за всю мою жизнь не было мне так тоскливо, так не по себе, как после ухода этого страшного слепца. На чернильницу тошно было глядеть, перо внушало ужас. Хотелось уйти подальше, убежать, увидеть деревья, подышать их свежестью... Господи, сколько ненависти! Сколько желчи! Какая потребность все оплевать, испакостить! Ах, какой дрянной человек!..

И я в бешенстве шагал по комнате, все еще слыша презрительный смешок, с которым он говорил о своей дочке.

Вдруг, проходя мимо стула, где сидел слепой, я на что-то споткнулся. Нагнувшись, я увидел его портфель, толстый, залоснившийся портфель с помятыми углами, с которым он никогда не расставался и который в шутку называл своим «мешочком с ядом». Этот «мешочек» был столь же известен в нашем мире, как и пресловутая папка г-на де Жирардена.^[24] Говорили, что там есть ужасные вещи... Мне представился прекрасный случай в этом убедиться. Старый, туго набитый портфель не выдержал и лопнул, и все бумаги вывалились на ковер; мне пришлось подбирать их по одной...

Пачка писем на бумаге с цветочками... Все начинались одинаково: «Дорогой папочка» — и все были подписаны: «Селина Биксиу, воспитанница приюта Девы Марии».

Старые рецепты, которые прописывают при детских болезнях: при крупе, судорогах, скарлатине, кори... (Бедная переболела всеми болезнями!)

Под конец большой запечатанный конверт, из которого, как из-под детского капора, выбились два-три русских завитка, а на конверте крупным дрожащим почерком, почерком слепого, значилось:

«Волосы Селины, срезанные 13 мая, в день ее отправки туда».

Вот что было в портфеле у Бикснугу. Эх, парижане, все вы на один лад! Пресыщение, насмешки, дьявольский хохот, злые шутки, а под конец... «Волосы Селины, срезанные 13 мая».

Легенда о человеке с золотым мозгом

Ломе, просящей веселых рассказов

Сударыня! Читая ваше письмо, я почувствовал угрызения совести. Я пенял на себя за излишне мрачную окраску моих рассказов и дал себе слово предложить сегодня вашему вниманию что-нибудь веселое, легкомысленное и веселое.

В конце концов к чему мне грустить? Я живу за тысячу миль от парижских туманов, на солнечном пригорке, в краю тамбуринов и мускатного вина. Вокруг меня только солнце и музыка: оркестры каменок, хоры синичек; по утрам плачут кулики, в полдень стрекочут цикады; потом пастухи играют на свирели, а смуглые красотки звонко смеются в виноградниках... По правде говоря, для мрачных красок место выбрано неудачно; мне бы следовало отсылать дамам поэмы в розовых тонах и целые охапки галантных рассказов.

Так вот нет же! Я живу все еще слишком близко от Парижа. Что ни день, отголоски его невзгод долетают сюда, до моих сосен... Вот и сейчас, в то время как я пишу эти строки, я узнал о горькой кончине несчастного Шарля Барбара,^[25] и вся моя мельница оделась печалью. Прощайте, кулики и цикады! Не лежит у меня сердце ни к чему веселому... Вот почему, сударыня, вместо очаровательной шутиливой сказочки, которую я обещал вам, вы и сегодня получите грустную легенду.

Жил-был человек, у которого мозг был из золота. Да, сударыня, из чистого золота! Когда он появился на свет, доктора думали, что он не выживет: такая у него была тяжелая голова и такой непомерно большой череп. Однако он выжил и стал подрастать на солнышке, как хорошее оливковое деревцо, только вот большущая голова вечно его перетягивала, и жалость брала смотреть, как он стучался на ходу о мебель... Часто он падал. Раз он скатился с крыльца и ударился лбом о мраморную ступеньку, так что череп у него зазвенел, как слиток золота. Думали уже, что он разбился насмерть, но когда его подняли, у него оказалась только небольшая ранка, да в белокурых его волосах запеклись две-три капельки золота. Тут-то родители и узнали, что у ребенка золотой мозг.

Дело решили держать в тайне, бедный мальчик сам ничего не подозревал. Иногда он спрашивал, почему не позволяют ему бегать около дома вместе с другими ребятами с их улицы.

— Как бы тебя не украли, мое сокровище! — говаривала ему мать.

И мальчику делалось страшно, как бы его не украли. Он молча уходил и играл в одиночестве, бродил, тяжело переваливаясь, из комнаты в комнату...

Только когда ему минуло восемнадцать лет, родители открыли ему, какой ужасный подарок получил он от судьбы. А так как до этого дня они его пестовали и кормили, то теперь попросили у него немножко золота. Мальчик не колебался; он сейчас же (как, каким способом, — об этом легенда умалчивает) извлек из черепа кусок чистого золота, большой кусок, величиной с орех, и с гордостью бросил его на колени матери... Затем, ослепленный богатством, которое он носил в голове, обезумев от желаний, опьянев от своего могущества, мальчик покинул отчий дом и пошел мотать свое сокровище.

По той царской жизни, какую он вел, по тому, как он сорил деньгами направо и налево, можно было подумать, что мозг его неистощим... А меж тем он истощался. Постепенно взор его тускнел, щеки вваливались. И вот однажды утром после безумного кутежа бедняга, оставшись один в неубранном пиршественном зале, при меркнувших свечах, ужаснулся, поняв, как сильно почат его золотой слиток; пора было остановиться.

С этого дня наступило новое существование. Человек с золотым мозгом удалился от суеты, стал жить трудами рук своих, опасаясь всего и всех подозревая, убегая от соблазнов, как скряга, старался позабыть о своем роковом кладе, боялся к нему притронуться... К несчастью, в его уединение за ним последовал друг, а друг этот знал его тайну.

Как-то ночью бедняга проснулся от боли в голове, от ужасной боли. Он вскочил, ничего не понимая, и при свете луны увидел друга, который убегал, пряча что-то под полкой...

Итак, у него пропал еще кусочек мозга!..

Спустя некоторое время человек с золотым мозгом влюбился, и на этот раз всему пришел конец... Он всеми силами души полюбил хорошенькую блондиночку, и она его любила, но еще больше любила она помпоны, белые перья и красивые золотистые кисточки, болтающиеся на ботинках.

Любо-дорого было смотреть, как тают золотые в руках этого очаровательного создания — не то птички, не то куколки. У нее появлялись все новые прихоти, а он не умел отказать. Боясь огорчить ее, он до последней минуты скрывал печальную тайну своего богатства.

— Мы, верно, очень богаты? — говорила она.

Бедняга отвечал:

— Да-да... очень богаты!..

И ласково улыбался голубенькой птичке, которая в простоте душевной клевала его череп. Иногда его брал страх, он чувствовал, что надо быть не таким щедрым; но тут блондиночка вспархивала к нему и начинала щебетать:

— Мой милый, богатый супруг! Купи мне что-нибудь дорогое-предорогое...

И он покупал ей что-нибудь дорогое-предорогое.

Так тянулось два года. И вот как-то утром бедняжка умерла неизвестно почему — как птичка... Слиток был на исходе, и на то, что от него осталось, вдовец устроил пышные похороны своей дорогой покойнице. Колокольный звон, громоздкие кареты, обитые черной материей, лошади в перьях, серебряные блески, бархат — все казалось ему недостаточно великолепным. К чему было ему теперь его золото?.. Он дал на церковь, дал факельщикам, дал цветочницам, продающим бессмертники; он раздавал, не торгуясь... Зато, когда он вышел с кладбища, у него уже почти ничего не осталось от его чудесного мозга, разве только кое-где к стенкам черепа прилипли золотые пылинки.

И вот он побрел по улицам, блуждая взором, вытянув вперед руки, спотыкаясь, словно пьяный. Вечером, когда зажглись огни в магазинах, он остановился перед огромной витриной, где при ярком свете переливались всеми цветами набросанные в беспорядке ткани и украшения. Он долго глядел на пару голубых атласных туфельек, отороченных лебяжьим пухом: «Я знаю, кого эти туфельки порадуют», — шептал он с улыбкой. Позабыв, что его блондиночка умерла, он решил купить их.

Хозяйка, сидевшая в комнатке за лавкой, услышала громкий крик. Она выбежала и в страхе отшатнулась, увидя человека, прислонившегося к прилавку и смотревшего на нее печальным, растерянным взглядом. В одной руке он держал голубые туфельки, отороченные лебяжьим пухом, а другой, окровавленной, протягивал ей оскребки золота, которые выцарапал собственными ногтями.

Вот вам, сударыня, легенда о человеке с золотым мозгом.

Несмотря на то, что легенда эта похожа на сказку, она правдива от начала до конца... Есть на свете несчастные люди, обреченные жить за счет своего мозга и платить за все в жизни чистым золотом, своей плотью и кровью. Для них это каждодневные муки. А потом, когда они устанут страдать...

Поэт Мистраль

В прошлое воскресенье, проснувшись, я подумал, что очнулся на улице Фобур-Монмартр. Шел дождь, небо хмурилось, мельница приуныла. Я испугался перспективы провести дома этот холодный дождливый день, и мне захотелось отогреться около Фредерика Мистраля, большого поэта, который живет в трех милях от моих сосен, в своей родной деревушке Майян.

Задумано — сделано. Дубинку из миртового дерева, томик Монтеня, пальто — и в путь!

В поле — ни души... Наш прекрасный католический Прованс по воскресным дням дает земле отдохнуть... Дома только собаки, фермы на запоре... Время от времени попадетя навстречу возок с натянутым мокрым брезентом, старуха, накрытая с головой плащом цвета сухих листьев, мул в праздничной сбруе с красными помпонами и серебряными бубенцами, в плетеной попоне, голубой с белым, впряженный в тряскую двуколку, на которой едет в церковь семья фермера, а там, сквозь туман, виднеются канал и лодка, в лодке стоит рыбак и закидывает сеть...

В такой день невозможно читать дорогой. Дождь льет как из ведра, а северный ветер полными пригоршнями бросает его в лицо... Я проделал весь путь не передохнув и наконец после трех часов ходьбы увидел впереди кипарисовую рощу, в которой деревня Майян укрылась от ветра.

На улицах никого; весь народ у обедни. Когда я проходил мимо церкви, серпент^[26] гудел, а сквозь цветные стекла мерцали свечи.

Поэт живет на краю деревни, в последнем доме с левой руки, при дороге в Сен-Реми, в одноэтажном домике с палисадником... Я тихонько вошел... Никого! Дверь в гостиную прикрыта, но слышно, что за дверью кто-то ходит и громко разговаривает... И шаги и голос мне хорошо знакомы... В большом волнении я остановился на минуту в выбеленном коридорчике, взявшись за ручку двери. Сердце усиленно бьется. Он там. Он работает... Может, обождать, пока он кончит строфу?.. Была не была, войду!

Эх, парижане! Когда майянский поэт приехал показать Париж своей Мирейле,^[27] когда вы увидели его у себя в гостиных, когда вы увидели этого чоткоса^[28] в городском костюме, в стоячем воротничке, в цилиндре, который так же стеснял его, как и его слава, вы поверили, что это и есть Мистраль... Нет, это был не он. На свете есть только один Мистраль, тот

самый Мистраль, которого я застал в прошлое воскресенье у него в деревне, — Мистраль в фетровом берете набекрень, без жилета, в куртке, в красном каталонском поясе, обмотанном вокруг талии. Мистраль с горящими глазами, с румянцем вдохновения на щеках, гордый Мистраль, улыбающийся доброй улыбкой, изящный, как греческий пастух, Мистраль, шагающий большими шагами, засунув руки в карманы и сочиняя стихи...

— Это ты! — воскликнул Мистраль, бросаясь мне на шею. — Молодец, что пришел!.. Как раз сегодня у нас в Майяне праздник. Оркестр из Авиньона, быки, крестный ход, фарандола, чудо как хорошо... Мать сейчас вернется из церкви, позавтракаем, а потом — ух!.. Пойдем полюбуемся, как пляшут красивые девушки...

Пока он говорил, я с умилением смотрел на маленькую гостиную со светлыми обоями, которую я так давно не видел и где провел уже столько хороших часов. Ничто не изменилось. Все тот же желтый диван шашками, два соломенных кресла, на камине безрукая Венера и Венера Арльская, портрет поэта, сделанный Эбером,^[29] его фотография (снимался он у Этьена Каржа^[30]), а в углу, у окошка, письменный стол-скромный столик писемоводителя, заваленный старыми книгами и словарями... На столе я увидел открытую толстую тетрадь... Это был «Каландаль» — новая поэма Фредерика Мистраля, которая должна выйти в конце года, на рождество. Мистраль работает над этой поэмой семь лет, вот уже полгода, как он написал последнюю строчку, и все-таки он никак не может расстаться с ней. Понимаете? То надо отшлифовать строфу, то найти более звучную рифму... Что из того, что Мистраль пишет по-провансальски? Он так отделяет свой стих, словно весь мир будет читать его на этом языке и будет ему признателен за его усердие честного труженика... О славный поэт! К Мистралю можно применить слова Монтеня: «Вспомните того человека, который на вопрос, ради чего он так усердствует, коль скоро его искусство не может стать достоянием многих, ответил: «С меня довольно немногих. С меня довольно одного. С меня довольно ни одного».

Я держал тетрадь с «Каландалем» и в волнении листал ее... Вдруг под окном раздались звуки тамбурина, и Мистраль сразу бросился к шкафу, достал стаканы, бутылки, выдвинул стол на середину комнаты и открыл дверь музыкантам, успев сказать мне:

— Не смейся... Это утренняя серенада в мою честь... Я ведь член муниципального совета.

Комната полна народа. Тамбурины положены на стулья, старое знамя стоит в углу, всех потчуют вином. Опорожнив несколько бутылок за

здоровье г-на Фредерика, степенно потолковав о празднике, погадав, какая будет в этом году фарандола, не хуже ли прошлогодней, хороши ли будут на арене быки, музыканты удалились почтить серенадами прочих членов совета. В эту минуту пришла мать Мистралья.

В мгновение ока стол накрыт: чудесная белоснежная скатерть и два прибора. Я знаю обычаи этого дома; я знаю, что, когда у Мистралья гости, мать за стол не садится... Старушка говорит на своем провансальском наречии и беседовать с французами стесняется... Да и на кухне без нее не обойтись.

Господи! Ну и поел же я в то утро! Кусок жареной козлятины, сыр, как его готовят здесь, в горах, вино, инжир, мускатный виноград... Все это обильно полито добрым папским шатонефом, у которого в бокалах такой красивый розовый оттенок!..

Когда подали десерт, я пошел за поэмой и положил ее на стол перед Мистралем.

— Мы ведь собирались погулять, — улыбаясь, сказал Мистраль.

— Нет-нет!.. «Каландаля», «Каландаля»!

Мистраль покорился и, отбивая такт рукой, звучным, мелодичным голосом начал читать первую песнь:

Поведал я преданье скорбное — о деве, от любви безумной, теперь, с господнего благословенья, хочу воспеть я юношу простого — из Кассиса, анчоусов ловца...

На дворе звонили к вечерней службе, на площади пускали ракеты, по улицам все время гуляли флейты и тамбурины. Камаргские быки, которых вели на бега, ревели.

А я, положив локти на стол, со слезами на глазах слушал историю бедного провансальского рыбака.

Каландаль был простым рыбаком; любовь превратила его в героя..! Чтобы завоевать сердце своей милой — красавицы Эстреллы, он совершает такие чудеса, что двенадцать подвигов Геракла меркнут перед его подвигами.

Однажды, решив во что бы то ни стало разбогатеть, он смастерил гигантские рыболовные снасти и выловил всю рыбу из моря. В другой раз он расправился с грозным разбойником из Олиульского ущелья графом Севераном и загнал его в самое логово, к его головорезам и наложницам... Ну и молодец же этот скромный Каландаль! Как-то на Сент-Боме он встретил две компании подмастерьев, пришедших разрешить свой спор в драке на могиле мастера Жака, провансальца, который срубил сруб для храма царя Соломона, вот как! Каландаль бросается в самую свалку и

действует на подмастерьев силой убеждения...

Сверхчеловеческие подвиги!.. Наверху, на неприступных Люрских скалах, рос кедровый лес, где ни разу не ступала нога дровосека. Каландаль идет туда. Он живет там один целый месяц. Целый месяц слышен стук его топора; топор звенит, врезаясь в стволы деревьев. Лес стонет; одно за другим валятся старые деревья-великаны и катятся в пропасть, и когда Каландаль спустился в долину, на горе не осталось ни одного кедра...

В конце концов за такие подвиги ловец анчоусов вознагражден любовью Эстреллы, а жители Кассиса выбирают его судьей. Вот и вся история Каландаля... Но дело не в Каландале. Важно то, что в поэме все время видишь Прованс — Прованс приморский, Прованс горный, его историю, обычаи, предания, природу, его народ, простодушный и свободолюбивый, обретший, раньше чем исчезнуть, своего великого поэта... А теперь проводите железные дороги, ставьте телеграфные столбы, изгоняйте из школ провансальский язык! Прованс будет жить из века в век в «Мирейле» и в «Каландале».

— Довольно с нас поэзии! — сказал Мистраль и закрыл тетрадь. — Пойдем поглядим на праздник.

Мы вышли. Вся деревня высыпала на улицу. Сильный северный ветер очистил небо, и солнце весело блестело на красных крышах, омытых дождем. Мы пришли как раз вовремя и застали конец крестного хода. В течение часа бесконечной вереницей тянулись кающиеся в покаянных рясах, в белых, синих и серых, монахини под покрывалами, розовые хоругви с золотыми цветами, большие деревянные святые с облезлой позолотой, которых двое несли на плечах, фарфоровые мученицы, размалеванные, словно идолы, с большими букетами в руках, ризы, ковчегцы с мощами, балдахины зеленого бархата, распятие, увитое белыми шелковыми лентами, — все это колыхалось на ветру в блеске свечей и солнца, под пение молитв и трезвон колоколов.

По окончании крестного хода, когда святых водворили в их часовни, мы пошли посмотреть на быков, затем на игры на гумне, на борьбу мужчин, на три прыжка, на игру с бурдюком — словом, на весь веселый ход провансальского праздника... Когда мы вернулись в Майян, уже стемнело. На площади, перед скромной кофейной, где Мистраль по вечерам играет в карты со своим другом Зидором, развели большой праздничный костер... Налаживалась фарандола. В темноте повсюду зажигались бумажные вырезные фонарики. Молодежь занимала места, и вскоре по призыву тамбурина вокруг костра закружился неистовый шумный хоровод, который не прекращается всю ночь.

Мы очень устали и после ужина не пошли шататься по улицам, а поднялись в спальню Мистралья. Это скромная крестьянская спальня с двумя большими кроватями. На стенах нет обоев; на потолке видны балки... Четыре года тому назад, когда Академия присудила автору «Мирейли» три тысячи франков, матери Мистралья пришла в голову счастливая мысль.

— Что, если нам оклеить стены, оштукатурить и побелить потолок у тебя в спальне? — предложила она сыну.

— Нет-нет! — ответил Мистраль. — Это деньги поэтов, их нельзя трогать.

И спальня осталась такой, как и была. Но пока не иссякли деньги поэтов, для всякого, кто только ни стучался в дверь к Мистралю, всегда был открыт его кошелек...

Я унес тетрадь с «Калапдалем» в спальню и попросил его прочитать мне на сон грядущий еще отрывок. Мистраль выбрал эпизод с посудой. Вот он в нескольких словах:

Званный обед — не знаю где. На стол подан великолепный сервиз мустьерского фаянса. На дне каждой тарелки изображен синей эмалью какой-нибудь провансальский сюжет; в сервизе дана вся история нашего края. И с какой любовью рассказывается об этой красивой посуде! На каждую тарелку по строфе, и каждая строфа — законченное стихотворение, написанное искренне и мастерски, отделанное, как буколики Феокрита.^[31]

Пока Мистраль читал мне стихи на прекрасном провансальском языке, на три четверти латинском, на котором раньше говорили королевы и который теперь понимают только наши пастухи, я восхищался в душе этим человеком, вспоминая, в каком упадке был его родной язык и что он из него сделал. Я представлял себе один из тех старинных замков владетельного рода Бо, которые и поныне можно видеть в предгорьях Альп: крыши нет, перил на крыльце нет, стекол в окнах нет, трехлистные пальметки на стрельчатых арках сломаны, герб на воротах изъеден мхом, по парадному двору разгуливают куры, под изящными колонками на галереях валяются свиньи, в часовне, заросшей травой, пасется оссл, из больших кропильниц пьют дождевую воду голуби, и среди этих развалин две-три крестьянские семьи устроили себе жилье в недрах старого дворца.

Но вот в один прекрасный день сын такого крестьянина влюбляется в эти величественные развалины, его возмущает их осквернение. Он поспешно прогоняет скот с парадного двора и с помощью фей, пришедших ему на выручку, отстраивает парадную лестницу, восстанавливает резные украшения, вставляет стекла в окна, воздвигает башни, покрывает заново

позолотой тронный зал и ставит на ноги огромный дворец, в котором некогда жили папы и императрицы.

Восстановленный дворец — это провансальский язык.

Сын крестьянина — это Мистраль.

Три малые обеды

Святочный рассказ

I

— Две индейки, нафаршированные трюфелями, Гарригу?..

— Да, ваше преподобие, две великолепные индейки, набитые трюфелями. Уж поверьте мне, я сам помогал их начинять. Кожа на них чуть не лопнула, пока они жарились, — так туго она натянута...

— Иисусе Христе! Матерь божья! Ах, как я люблю трюфели!.. Подай нарамник, Гарригу... А кроме индеек, что ты еще видал на кухне?..

— Ой, столько там всего вкусного!.. С полудня мы только и знали, что щипали фазанов, удонов, рябчиков, глухарей. Перья так и летели... Потом с пруда принесли угрей, золотистых карпов, форелей...

— А большие форели, Гарригу?

— Во какие большие, ваше преподобие!.. Большущие!..

— Ах ты, господи! Так их и вижу... Налил вина в чашу?

— Да, ваше преподобие, налил вина в чашу... Но, ей — богу, куда этому вину до вина, которое вы отведаете после литургии. Посмотрели бы в столовой, как сверкают всеми цветами графины, полные вина... А серебряная посуда, резные приборы, цветы, канделябры!.. Ни разу еще не бывало в сочельник такого ужина. Маркиз пригласил всех окрестных сеньоров. За столом вас будет не меньше сорока, не считая судьи и нотариуса... Счастливый вы человек, ваше преподобие, что вас пригласили туда!.. Я только нюхнул этих чудных индеек, а запах трюфелей меня преследует... Ух!..

— Ну-ну, сын мой! Надо остерегаться, как бы не впасть в грех чревоугодия, да еще в ночь под рождество Христово... Поди засвети свечи и ударь к литургии, скоро уже полночь, как бы не опоздать...

Разговор этот происходил в ночь под рождество лета господня тысяча шестьсот такого-то между его преподобием отцом Балагером, бывшим настоятелем ордена варнавитов, ныне капелланом на службе у сеньоров де Тренкелаж, и мальчиком-причетником Гарригу или по крайней мере тем, кого он почитал за мальчика-причетника, так как должен вам сказать, что этой ночью дьявол принял детский облик толстощекого причетника, дабы

легче ввести достойного пастыря во искушение и натолкнуть его на чудовищный грех чревоугодия. И вот, пока мнимый Гарригу (гм! гм!) изо всех сил трезвонил в колокола домовой церкви, капеллан облачался в небольшой ризнице. И, уже смутившись духом от всех этих гастрономических описаний, он повторял про себя:

— Жареные индейки... золотистые карпы... во какие форели!..

На дворе дул ночной ветер, разнося звон колоколов, мало-помалу по склону горы Ванту, на вершине которой высились древние башни замка Тренкелаж, во тьме загорались огоньки, — это арендаторы с семьями шли в замок к полунощнице. С пением, группами по пять-шесть человек взбирались они по откосу: впереди отец с фонарем в руке, потом женщины, закутанные в широкие коричневые плащи, под которые прятались дети. Несмотря на поздний час и холод, эти добрые люди шли бодро, утешаясь мыслью, что, когда отойдет служба, они, как это бывало ежегодно, усядутся на кухне за длинными столами. Время от времени на крутом склоне в лунном сиянии поблескивали окна господской кареты, путь которой освещали факелами, да трусил мул, позванивая бубенцами, и при свете фонарей, прорезающих тьму, арендаторы узнавали судью и отвечивали ему поклоны:

— Добрый вечер, добрый вечер, господин Арнотон!

— Добрый вечер, добрый вечер, дети мои!

Ночь была ясная, звезды ярче сверкали на морозе. Северный ветер обжигал лицо, мелкая крупа падала на одежду и, не намочив ее, сыпалась на землю, блюдя традиции рождественских ночей, белых и снежных. Вершину холма венчал замок — конечная цель пути. На иссиня-черном небе он вырисовывался огромной глыбой, с башнями, остроконечными кровлями, колокольной. Множество мигающих огоньков сновало взад и вперед, мелькало в окнах, будто по темному фону здания пробежали искорки, как по пеплу от сожженной бумаги... Надо было пройти подъемный мост и потайной ход, затем, чтобы попасть в часовню, миновать первый двор, запруженный каретами, носилками, полный слуг, ярко освещенный факелами и огнем, пылавшим в кухнях. Слышно было, как в суете приготовлений скрипят вертела, стучат кастрюли, звенит стекло и серебро. Вдыхая теплый пар, пропитанный приятным запахом жаркого и замысловатых соусов с пряностями, и арендаторы, и капеллан, и судья, да и все вообще думали: «Ну и поужинаем же мы на славу после полунощницы!»

«Дин-ден-дон!.. Дин-ден-дон!..»

Вот и началась полунощница. Домовая церковь — настоящий собор в миниатюре, со стрельчатыми арками, с дубовой резьбой до самого верха стен — убрана коврами, горят все свечи. А что народу! Какие наряды! Впереди, на резных стульях вокруг амвона, сидят маркиз де Тренкелаж в розовом шелковом кафтане и все приглашенные знатные сеньеры. На скамеечках перед покрытыми бархатом аналоями преклонили колени старая вдовствующая маркиза в парчовой робе огненного цвета и молодая г-жа де Тренкелаж в высокой кружевной гофрированной башне на голове — по самой последней моде французского двора. Дальше виднелись огромные остроконечные парики и бритые лица судьи Тома д'Арнотона и нотариуса Амбруа, одетых в черное, — два мрачных пятна среди яркого шелка и штофного атласа. Позади них — упитанные мажордомы, пажи, псары, управители, почтенная вкономка Барб с ключами на серебряном кольце у пояса. В отдалении на скамьях — челядь, служанки, арендаторы с семьями, а в самом конце, у дверей, робко притворяя и снова закрывая их, жмутся господа поварята, прибежавшие, пока готовятся соусы, ухватить кусочек службы в жаркой от теплящихся свечей церкви, куда они приносят с собой запахи рождественского ужина.

Уж не их ли белые колпаки отвлекли внимание церковнослужителя? Нет, пожалуй, это колокольчик Гарригу, обезумевший его колокольчик, — он с сатанинской яростью звонит у алтаря, словно настойчиво повторяет:

— Поспешай, поспешай!.. Чем скорее мы кончим, тем скорее сядем за стол.

Словом, как только зазвонит этот проклятый колокольчик, капеллан забывает о службе и думает только об ужине. Он так и представляет себе суеющихся поваров, печи, в которых, как в горне, пылают огонь, пар, поднимающийся от приоткрытых кастрюль, а в пару — двух чудесных индеек, начиненных, набитых до отказа, разубранных трюфелями».

А то еще чудится ему вереница пажей — они несут соблазнительно дымящиеся блюда, и вместе с ними он входит в большой зал, уже приготовленный для пира. Ох, искушение! Огромный стол сверкает и ломится от яств: павлины в перьях, фазаны с растопыренными золотистыми крыльями, графины рубинового цвета, пирамиды ярких фруктов в зелени ветвей и чудесные рыбы, о которых говорил Гарригу (да, Гарригу!). Рыбы убраны укропом, чешуя переливается перламутром,

словно их только что вынули из воды, в их чудовищные разинутые пасти воткнуты пучки пахучих трав. Капеллан Балагер так живо представил себе все эти прелести, что ему померещилось, будто изумительные яства расставлены перед ним здесь, на расшитой пелене престола. Несколько раз он поймал себя на том, что вместо *Dominus vobiscum!* произнес *Benedicite*. [32] Если не считать этих незначительных оговорок, достойный пастырь благолепно отправлял службу, не пропуская ни одного возгласа, не забывая ни одного коленопреклонения. И первая обедня прошла довольно чинно, — вы ведь знаете, что под рождество один и тот же священник должен отслужить три литургии подряд.

«Одна с плеч долой!» — подумал капеллан со вздохом облегчения. Затем, не теряя ни минуты, он подал знак своему причетнику или тому, кого почитал за своего причетника, и...

«Дин-ден-дон! Дин-ден-дон!..»

Началась вторая обедня, а с нею вместе началось и грехопадение о. Балагера.

«Скорей, скорей, поспешай!» — звенел жиденьким голоском колокольчик причетника Гарригу, и на этот раз злополучный священнослужитель, поддавшись бесу чревоугодия, набросился на требник и пошел глотать страницу за страницей со всей прожорливостью своего разыгравшегося аппетита. В каком-то неистовстве опускался он на колени, подымался, смазывал крестные знамена, коленопреклонения, сокращал все, только бы поскорее окончить. Он едва успевал воздеть руки за евангелием, едва успевал ударить себя в грудь, когда читал *Confiteor*. Он и причетник зачастили наперегонки. Возгласы впопыхах налезали друг на друга. Чтобы не терять времени, священник и причетник почти не открывали рта, бормотали только первые слоги, и конца слов нельзя было разобрать.

— *Oremus ps... ps... ps...*

— *Mea culpa... pa... pa...*

Они барахтались в латыни так, что только брызги летели, как у сборщиков винограда, когда им некогда и они наспех давят виноград в чану.

— *Dom... scum!..* — восклицал о. Балагер.

— *Stutuo!..* — отвечал Гарригу.

А проклятый колокольчик тут как тут, так и звенит в самые уши, словно бубенцы, которые подвешивают почтовым лошадям, чтобы они понукали их бежать во всю прыть. Вы понимаете, что при такой гонке малую обедню отслужить недолго.

— Две с плеч долой! — сказал запыхавшийся капеллан.

Затем, не передохнув, весь красный и потный, он скатился со ступенек алтаря и...

«Дин-ден-дон!.. Дин-ден-дон!..»

Началась третья литургия. Еще немного — и он в столовой. Но, увы, чем ближе рождественский ужин, тем сильнее нападает на злополучного Балагера яростное нетерпение и чревоугодие... Его мечты приобретают все более осязательный облик: золотистые карпы, жареные индейки тут, совсем близко... Он их трогает... он их... О господи! Блюда дымятся, вино благоухает, а неугомонный колокольчик звенит, болтая язычком:

«Быстрее, быстрее, еще быстрее!..»

Куда уж тут быстрее! О. Балагер и так только шевелит губами. Совсем не произносит слов... Остается только надуть господа бога и украсть у него пол-обедни... Он, несчастный, так и делает! Раз вступив на путь соблазна, он сперва пропускает один возглас, потом два, издали кивает головой проскомидии, потом апостольское послание кажется ему слишком длинным, он его не кончает, отбарабанивает евангелие, минует *Credo*, не задерживаясь на нем, перемахивает через *Pater* и вприпрыжку устремляется к концу обедни. И ни на шаг не отстаёт от него лукавый Гарригу (*vade retro, Satanas!*^[33]), вторит ему с поразительным усердием, приподымает его облачение, перевертывает по нескольку страниц зараз, роняет аналой, опрокидывает сосуды и непрерывно звонит в колокольчик, все громче, все быстрее.

Если б вы видели, какие недоумевающие лица у всех молящихся! Не разбирая слов, они следят за литургией по движениям священнослужителя, и вот — кто поднимается с колен, кто опускается на колени, кто сидит, а кто стоит. Все моменты этой необычной службы перепутались и сразу отразились в самых различных положениях молящихся. Рождественская звезда, совершающая по небесным стезям свой путь к яслям, бледнеет от ужаса при виде этой путаницы.

— Аббат уж очень спешит... Невозможно уследить за ним, — ворчит вдовствующая маркиза, в недоумении покачивая головным убором.

Нотариус Арнотон, надев на нос большие очки в стальной оправе, листает молитвенник, — надо же, черт возьми, поймать, где мы сейчас! Но в душе все эти добрые люди, предвкушая рождественский ужин, до вольны, что аббат служит, как на почтовых. И когда о. Балагер с сияющим лицом поворачивается к пастве и возглашает: *lie, missa est*, — вся церковь в один голос отвечает: *Dea gratias* — так радостно, с таким воодушевлением, что, право, можно подумать, будто все уже за столом и подымают первый заздравный кубок.

Пять минут спустя сеньеры, в их числе капеллан, уже сидели за столом в большом зале. В замке, освещенном сверху донизу, стоял гул от песен, криков, смеха и суетни. Его преподобие о. Балагер, воткнув вилку в крылышко рябчика, заливал угрызения совести папским вином и вкусной мясной подливкой. Бедный праведник так плотно покушал и столько выпил, что умер той же ночью от удара, даже не успев раскаяться в своем грехе. Наутро он явился на небеса еще в угаре ночного пира. Предоставляю вам самим вообразить, каков был прием.

— Прочь с глаз моих, недостойный христианин! — сказал ему всевышний судия, владыка всех людей. — Грех твой так тяжек, что всей твоей добродетельной жизнью его не искупить!.. А, ты украл у меня одну ночную службу?.. Ну, так ты заплатишь мне за нее тремя сотнями литургий и в рай войдешь, только когда отслужишь в той же церкви три сотни рождественских литургий в присутствии всех, кто согрешил вместе с тобой и по твоей вине...

...Вот вам достоверное предание об о. Балагере, как его рассказывают в стране оливковых деревьев. Замка Тренкелаж больше не существует, но церковь все еще стоит на самой вершине горы Ванту среди зеленой дубовой рощицы. Ветер хлопает незапертой дверью, ступени поросли травой, птицы выют гнезда в углах алтаря и в амбразурах высоких окон, в которых давно повыбиты цветные стекла. Однако ходят слухи, что каждый год под рождество среди развалин блуждает призрачный огонек, и крестьяне, стекаясь на ночную службу и на рождественский ужин, каждый раз видят, что в этом остове церкви горят под открытым небом невидимые свечи, даже при снеге и на ветру. Смейтесь сколько душе угодно, но один местный винодел по имени Гарриг, вне всякого сомнения, потомок Гарригу, уверял меня, будто раз, в сочельник, хватив немножко лишнего, он заблудился в горах неподалеку от Тренкелажа, и вот что он увидел: до одиннадцати — ничего. Тихо, темно, ни души. Вдруг в полночь на колокольне зазвонил колокол, зазвонил слабо-слабо, словно за десять миль отсюда. Вскоре на дороге, ведущей в гору, Гарриг заметил мерцающие огоньки, смутные тени. На церковной паперти слышался шорох шагов, перешептывания:

— Добрый вечер, господин Арнотон!

— Добрый вечер, дети мои!..

Когда все вошли, мой винодел (парень не из трусливых) тихонько подошел и заглянул в поломанную дверь — необычайное зрелище представилось ему. Весь народ, что прошел в церковь, разместился вокруг клироса в развалившемся храме, словно там по-прежнему стояли скамьи. Прекрасные дамы в парчовых платьях, в кружевных уборах на голове, сеньеры, разряженные в пух и прах, крестьяне в ярких куртках, какие носили наши деды, но все молящиеся — старые, поблеклые, покрытые пылью, изможденные... Время от времени ночные птицы, хозяева церкви, разбуженные светом, вились вокруг свечей, смутно, как сквозь флер, горевших ровным пламенем. Особенно позабавил Гаррига один человек в больших стальных очках: он беспрестанно потрясал высоким черным париком, на котором птица молча хлопала крыльями.

У алтаря старичок, ростом с ребенка, стоя на коленях, отчаянно трезвонил колокольчиком без язычка и без голоса, а священник, облаченный в старинную золотую ризу, читал молитвы, в которых нельзя было разобрать ни слова... Ну, разумеется, это был о. Балагер, служивший третью малую обедню!

Апельсины

Фантазия

В Париже у апельсинов вид жалкий, как у плодов, подобранных с земли. Когда их присылают к нам в холодную, пасмурную зимнюю пору, их яркая корка, их почти тяжелый аромат в наших краях, где вкусовые ощущения умеренны, придают им что-то экзотическое, что-то цыганское. Печально движутся они туманными вечерами вдоль тротуаров в небольших тележках, освещенных тусклым светом красного бумажного фонаря. И, теряясь в грохоте экипажей, в шуме omnibusов, всюду сопровождает их монотонный и резкий крик:

— Валенсийские апельсины! Пять сантимов штука!

Этот плод обычной круглой формы, плод, сорванный где-то далеко и лишь тоненькой зеленой кожуркой напоминающий о дереве, на котором он вырос, большинство парижан причисляет к кондитерским товарам, к сладостям. Апельсины завернуты в папиросную бумагу. Их прибытие связано с праздниками, что также способствует подобному убеждению. В конце декабря, когда улицы усеяны апельсинами, когда в грязи, в канавах, всюду валяются апельсиновые корки, кажется, что гигантская рождественская елка отряхнула над Парижем свои ветки, увешанные искусственными плодами. Нет такого уголка, где бы их не было. Они лежат, нарядные, отборные, в освещенной витрине; лежат у дверей тюрем и больниц, среди пакетов с печеньем, среди груд яблок; в воскресные дни — у входа в танцевальные залы, в театры. Их изысканный аромат примешивается к запаху газа, к пиликанию скрипок, к пыли скамеек в райке. И люди забывают, что апельсины растут на апельсиновых деревьях, — забывают потому, что плоды мы получаем непосредственно с юга, целыми ящиками, а само дерево, подстриженное, преображенное, как бы переодетое, только на короткий срок покидает теплицу, где проводит всю зиму, и появляется под открытым небом в городских садах.

Чтобы по-настоящему знать апельсины, надо видеть их на родине, на Балеарских островах, в Сардинии, на Корсике, в Алжире, в золотисто-лазурном воздухе, в теплом климате Средиземного моря. Мне вспоминается небольшая апельсиновая рощица у стен Блидаха. Какие они там были чудесные! В темной, глянцевитой, точно лаком покрытой листве плоды сверкали, как цветное стекло, и воздух вокруг них так и лучился тем

золотистым, праздничным сиянием, что, как ореолом, окружает яркие цветы. Сквозь просветы в ветвях виднелись стены городка, минарет, купол мечети, а надо всем этим — громады Атласских гор, зеленых у подножия, увенчанных, словно белым мехом, пушистым снегом, легшим мягкими хлопьями по склонам, точно барашки побежали по волнам.

Однажды ночью, когда я был там, над спящим городом, не знаю, каким чудом, впервые за тридцать лет пронеслась полоса инея и мороза, и Блидах проснулся неузнаваемым, запорошенным белым снегом. В алжирском воздухе, легком и чистом, снег отливал перламутровой пылью. Он блистал, как перья белого павлина. Прекраснее всего была апельсиновая роща. На твердых листьях снег лежал нетронутыми ровными кучками, как шербет на лаковых подносах, а плоды, припорошенные изморозью, светились мягким блеском, кротким сиянием, точно золото сквозь прозрачную белую ткань. В воображении вставало отдаленное впечатление торжественной церковной службы, красных сутан под кружевным облачением, позолоты на престоле, сверкающей сквозь гипюр...

Но лучшие мои воспоминания об апельсинах я вынес из Барбикаля, — это большой сад неподалеку от Аяччо, куда я ходил вздремнуть в жаркие послеобеденные часы. Здесь апельсиновые деревья, более высокие, менее частые, чем в Блидахе, спускались к самой дороге, от которой сад был отделен только живой изгородью и канавой. И тут же начиналось море, необъятное синее море... Какие прекрасные часы провел я в этом саду! Над головой у меня апельсиновые деревья во всем блеске струили вязой фимиам. Порой, вдруг оторвавшись от ветки, словно истомленный жаром, падал около меня наземь зрелый апельсин, падал с глухим стуком, почти беззвучно. Мне достаточно было протянуть руку. Какие это были великолепные плоды, пурпурно-красные внутри! Мне они казались чудесными, да и вокруг все было так красиво! Между листьями ослепительно сверкала голубая поверхность моря, будто осколки стекла искрились в воздушной дымке. А время от времени докатывался шум прилива, ритмичный рокот, баюкавший меня, как в невидимой лодке, и жара, и запах апельсинов!.. Ах, как сладко дремалось в саду Барбикаля!

Но иногда во время самого сладкого сна меня вдруг будил барабанный бой. Это несчастные барабанщики спускались на дорогу упражняться в своем искусстве. Сквозь просветы в изгороди мне видна была медь барабанов и большие белые передники на красных штанах. Бедняги приходили сюда, чтобы в короткой тени, отбрасываемой изгородью, хоть немного укрыться от яркого света, которым безжалостно слепила их пыльная дорога. И уж как же они усердствовали! И уж как же им было

жарко! С трудом преодолев оцепенение, я ради забавы швырял в них золотисто-красными плодами, висевшими у меня над головой. Намеченный мною барабанщик останавливался. Наступала минута колебания, он оглядывался, чтобы посмотреть, откуда свалился великолепный апельсин, покотившийся в канаву, затем быстро подбирал его и впивался в него зубами, даже не очищая от корки.

Еще помнится мне, что совсем близко от Барбикаля за низкой оградой был довольно необычный садик, видный мне сверху. Небольшой, аккуратно возделанный клочок земли... Золотистые от песка дорожки, окаймленные ярко-зелеными кустами букса, два кипариса у входа — все это очень напоминало дачку под Марселем. Ни капли тени. В конце сада белое каменное строение с оконцами вровень с землей. Сперва я думал, что это загородный домик, но, присмотревшись, понял, что это корсиканская семейная усыпальница, понял по кресту на верхушке, по высеченной на камне надписи, которую я видел издали, но не мог разобрать. В окрестностях Аяччо много таких усыпальниц, воздвигнутых среди сада, разбитого специально для них. По воскресеньям сюда приходит вся семья проведать своих покойников. В такой обстановке смерть не так мрачна, как среди столпотворения на кладбищах. Тишину нарушают только шаги близких.

Мне был виден старичок, спокойно бродивший по дорожкам. Весь день он заботливо подстригал деревья, копал, поливал, срезал увядшие цветы, потом, когда солнце клонилось к вечеру, входил в часовенку, где почивали его близкие. Он убирал лопату, грабли, большие лейки. Делал он все спокойно, с невозмутимым видом, как кладбищенский садовник. Однако, сам того не сознавая, старичок работал с какой-то благоговейной, приглушенной сосредоточенностью, осторожно притворив дверь часовни, словно боясь кого-то разбудить. Даже птица не нарушала тишины садика, и его соседство нисколько не омрачало великого сияющего безмолвия природы. Только море казалось еще необъятнее, небо еще бездоннее, и этот сон, которому не будет конца, среди волнующей, подавляющей избытком жизни природы навевал на все вокруг чувство вечного покоя...

Два постоянных двора

Я возвращался из Нима как-то днем в июле месяце. Жара стояла нестерпимая. Насколько хватал глаз, среди садов, засаженных оливковыми деревьями и низкорослыми дубками, под палящим матово-серебряным солнцем, заполонившим все небо, пылилась белая раскаленная дорога. Ни капельки тени, ни дуновения ветерка, только трепетал жаркий воздух да звонко стрекотали цикады, стрекотали, как оголтелые, оглушительно, без умолку, и казалось, что от этого непрерывного слепящего трепетания и стоит звон в воздухе... Уже два часа я шел по безлюдной пустыне, как вдруг передо мной в дорожной пыли выросла кучка белых домиков. Это была так называемая Сен-Венсенская почтовая станция: пять-шесть домиков, длинные сараи под красной крышей. Среди тощих смоковниц — водопой без воды, а на самом краю, по обе стороны дороги, один против другого, два больших постоянных двора.

Соседство этих двух постоянных дворов потрясло меня. По одну сторону — большое новое строение, оживленное суетой: все двери настежь, у крыльца — дилижанс, выпрягают взмыленных лошадей, пассажиры вышли из кареты и наспех утоляют жажду, укрывшись в короткой тени от стен; двор запружен мулами, повозками; под навесом улеглись возчики, ожидая, когда спадет жара. В доме галдят, ругаются, чокаются, стучат по столу кулаками, грохочут бильярдные шары, летят в потолок пробки откупориваемых бутылок, и, покрывая весь этот гвалт, звонкий голос заливается так, что дребезжат стекла:

Марго-краса, бывало,
Брала кувшин золотой
И поутру бежала
К колодцу за водой...

А постоянный двор напротив безмолвствовал, словно заброшенный. У входа — трава, ставни покосились, над дверью, как затрепанный султан, болтается веточка остролиста, побуревшая от времени, ступени на крыльце укреплены булыжниками... Все такое убогое, такое унылое, что просто из человеколюбия следовало остановиться там и выпить стаканчик.

Войдя, я увидел длинную залу, безлюдную и угрюмую, казавшуюся

еще угрюмее и безлюднее от яркого света, лившегося из трех больших окон без занавесок. В нездоровой, затхлой духоте дремали колченогие столы с позабытыми на них стаканами, потускневшими от пыли, ободранный бильярд, протянувший, как бы за подающим, четыре свои лузы, желтый диван, старая стойка. А мухи! Мухи! Никогда не видел я такого множества: они облепили потолок, окна, стаканы... Гроздь мух!.. Когда я отворил дверь, мне почудилось, будто я вошел в улей, — такое поднялось жужжание и шелест крылышек.

В глубине залы, в амбразуре окна, прижавшись лбом к стеклу, стояла женщина, поглощенная тем, что делалось на улице. Я окликнул ее два раза: — Эй, хозяйка!

Она не спеша обернулась, и я увидел лицо горемычной крестьянки, высохшее, изборожденное глубокими морщинами, землистое, обрамленное широкими оборками суровых кружев, — так ходят старухи в наших краях. А она была еще не старуха, но ее иссушили слезы.

— Что вам угодно? — спросила она, утирая глаза.

— Передохнуть и чего-нибудь выпить...

Она с удивлением поглядела на меня, не двинувшись с места, словно не понимая.

— Разве здесь не постоянный двор?

Женщина вздохнула;

— Как же!.. Постоялый... Только что же вы не по* шли, как все, напротив? Там куда веселей...

— Там чересчур уж весело... Я лучше здесь посижу.

Не дожидаясь ответа, я сел за столик.

Убедившись, что я не шучу, хозяйка засуетилась: с деловитым видом выдвигала она ящики, переставляла бутылки, вытирала стаканы, гоняла мух... Как видно, гость, которого требовалось обслужить, был здесь событием. Время от времени бедняжка останавливалась и хваталась за голову, словно боясь, что не управится.

Потом она ушла в заднюю комнату. Я слышал, как она звенела ключами, возилась с замками, рылась в ларе с хлебом, пыхла, вытирала пыль, перемывала тарелки. Порой она тяжело вздыхала и с трудом сдерживала рыдания.

Через четверть часа приготовления были кончены, передо мной стояла тарелка с изюмом, черствый бокерский хлеб, твердый, как камень, и бутылка плохого вина.

— Кушать подано, — сказала эта странная женщина и поспешила стать на прежнее место у окна.

Потягивая вино, я старался вызвать ее на разговор:

— К вам, верно, не часто заходят, голубушка?

— Ох, сударь, никто не ходит!.. Когда мы здесь одни были, другое дело: мы держали почтовую станцию, в пору охоты на уток готовили обеды, круглый год останавливались у нас все экипажи... Но стоило здесь обосноваться соседям, все прахом пошло... Народу там больше нравится. У нас, говорят, слишком грустно... Оно и верно, в заведение к нам приманить нечем. Я некрасива, лихорадка меня извела, обе дочки померли... А там весь день смех. Постоялый двор держит арлезианка, красивая женщина, вся в кружевах, вокруг шеи золотая цепочка в три ряда. Возница дилижанса — ее любовник, он везет прямо к ней на двор. Да и служанки у нее все смазливые... Вот гости к ней и валят. Вся молодежь из Безуса, Редессана, Жонкьера. Возчики крюк делают, только бы заехать к ней... А я день-деньской сижу здесь одна-одинешенька и с горя сохну.

Говорила она это каким-то безучастным, равнодушным голосом, все еще прижавшись лбом к стеклу. Несомненно, что-то в постоялом дворе по ту сторону дороги не давало ей покоя...

Вдруг там поднялась суетня. Дилижанс тронулся с места в облаке пыли. Слышно было, как щелкает бич, как трубит в рожок почтальон, на крыльцо высыпали девушки, крича:

— Прощайте, прощайте!

И, покрывая шум, заливался пуще прежнего давешний громкий голос:

Брала кувшин златой,
Бежала за водой.
И встретила ей как-то
Три рыцаря в доспехах...

При звуке этого голоса хозяйка задрожала всем телом и, обернувшись ко мне, прошептала:

— Слышите? Это мой муж... Правда, хорошо поет?

Я с удивлением посмотрел на нее.

— Как? Ваш муж?.. Он, стало быть, тоже туда заходит?

Она ответила с удрученным видом, но с бесконечной кротостью:

— Что ж поделаешь! Мужчины все такие, слез не любят, а я, как дочки померли, глаз не осушаю... Да и здесь грустно — словно сарай какой, никого... Вот как бедный мой Жозе заскучает, так и идет напротив выпить стаканчик, а арлезианка все его петь подбивает, голос-то у него на диво.

Тсс!.. Вот он опять запел.

Дрожа, протянув руки, со слезами на глазах, от чего она казалась еще невзрачнее, стояла она у окна и в каком-то экстазе слушала, как ее Жозе пел для арлезианки:

И первый ей сказал:

«Душа-девица, здравствуй!»

Саранча

Вот одно алжирское воспоминание, а затем вернемся домой на мельницу...

В первую ночь моего приезда на Сахельскую ферму я не мог заснуть. Новая страна, возбуждение после путешествия, вой шакалов, а потом расслабляющая, давящая жара, невероятная духота, словно сквозь сетку от москитов не проникало ни струйки воздуха... На рассвете, когда я открыл окно, небо, как пороховым облаком после битвы, заволокло густым летним туманом; гряда тумана, черная, с розовым по краям, тяжело надвигалась на нас. Не трепетал ни один листочек, и на прекрасных садах, расстилавшихся у меня перед глазами, на разбросанных по склонам виноградниках, где под жгучим солнцем вызревает сладкий виноград, на европейских фруктовых деревьях, приютившихся в тенистых уголках, на маленьких апельсиновых и мандариновых деревьях, вытянувшихся длинными микроскопическими рядами, — на всем лежал общий мрачный отпечаток, неподвижность листвы перед бурей. Похожие на огромные бледно-зеленые тростники бананы, которые вечно колышет ветер, играя их нежной и легкой кроной, и те застыли молча и неподвижно правильными султанами.

Я с минуту смотрел на эти чудесные насаждения, где собраны деревья со всего света, где каждое дерево, перенесенное на чуждую почву, в положенный ему срок приносит цветы и плоды. Среди хлебных полей и рощиц пробкового дуба блестела вода, при взгляде на которую вто душное утро казалось прохладнее. Любуясь роскошью и порядком окружающего меня пейзажа, этой красавицей фермой, ее мавританскими арками, ее белевшими в лучах рассвета террасами, службами, расположенными вокруг, я думал, что двадцать лет тому назад, когда этот работающий люд поселился здесь, в Сахельской долине, тут была только убогая сторожка для дорожных рабочих да невозделанная земля, оцетинившаяся карликовыми пальмами и мастиковыми деревьями. Все надо было создать, все надо было построить. Непрестанно восставали арабы. Приходилось бросать плуг и браться за ружье. А недуги, глазные болезни, лихорадка, неурожай, неопытность, работа оцупью, борьба с тупыми, постоянно меняющимися чиновниками! Сколько труда! Сколько хлопот! Сколько неусыпных забот!

Даже и теперь, хотя тяжелые времена уже миновали и есть достаток, приобретенный дорогой ценой, даже и теперь хозяева, и муж и жена,

поднялись первыми. В этот ранний час я слышал их шаги в просторной кухне, в нижнем этаже, где они готовили кофе работникам. Вскоре прозвонил колокол, и через несколько минут по дороге потянулись работники. Бургундские виноделы, оборванные кабийские пахари в красных фесках, босоногие маонские землекопы, мальтийцы, уроженцы Лукки — разношерстная толпа, которой трудно управлять... Стоя на пороге, фермер резким, грубоватым голосом определял каждому дневную работу. Затем поднял голову, с тревожным видом взгляделся в небо, заметил меня у окна и сказал:

— Для хозяйства погода плохая, надвигается сирокко.

В самом деле, по мере того как всходило солнце, с юга нас все чаще обдавало знойным, душным воздухом, будто открывали и закрывали печь. Я не знал, куда деться, что предпринять. Так прошло все утро. Мы выпили кофе в галерее на циновках, не имея сил ни говорить, ни двигаться. Собаки искали прохлады на каменных плитах и лежали, устало вытянувшись во всю длину. Завтрак нас подбодрил, завтрак обильный и необычны'*: карпы, форель, кабан, ежи, масло из Стауэли, вино из Крешии, гуявы, бананы — кушанья со всех концов света, столь же разнообразные, как и окружающая природа... Мы уже собирались встать из-за стола. Вдруг за стеклянной дверью, затворенной, чтобы уберечь нас от жары, пышущей из сада, раздались громкие крики:

— Саранча! Саранча!

Хозяин побледнел, как человек, который узнал об ужасном бедствии, и мы быстро вышли. Минут десять в доме, только что таком мирном, стоял шум стремительных шагов, слышались невнятные голоса, терявшиеся в суматохе пробуждения. Слуги, дремавшие в полумраке сеней, высыпали на улицу и принялись колотить палками, вилами, цепями, любыми подвернувшимися под руку металлическими предметами по медным котлам, лоханкам, кастрюлям. Пастухи трубили в пастушьи рожки. У других были морские раковины, охотничьи рога. Какофония стояла невообразимая, и среди нее выделялись пронзительные крики «Йю-йю-йю!» арабских женщин, прибежавших с соседнего дуара. Говорят, что зачастую достаточно поднять сильный шум, сотрясти звуками воздух, и саранча улетит, побоится сесть на землю.

Но где же были эти страшные насекомые? На небе, дрожавшем от зноя, я видел только тучу, сплошную бурую тучу, похожую на градовую, — она надвигалась с грозным гулом, как буря, шумящая тысячами веток в лесу. Это и была саранча. Сцепившись сухими распростертыми крыльшками, саранча летела плотной массой, и, несмотря на наши крики,

на все наши усилия, туча приближалась, отбрасывая на долину огромную тень. Скоро она была у нас над головой. Затем она растрепалась, разодралась на края. Отдельные рыжеватые, явственно видные насекомые оторвались от нее, как первые капли ливня. Наконец всю тучу как прорвало, и насекомые сухим и шумным градом посыпались вниз. Куда ни глянешь — поля покрыты саранчой, огромной саранчой величиной с палец.

Тогда началось истребление. Омерзительный треск раздавленной саранчи, будто хрустела солома. Боронами, мотыгами, плугами взрыхляли эту шевелящуюся почву; чем больше убивали, тем больше появлялось. Насекомые копошились целыми слоями, сцепившись длинными лапками; те, что были внизу, делали отчаянные скачки, прыгая прямо к мордам лошадей, впряженных в плуг для такой необычной пахоты. Собаки с фермы, собаки с дуара, пущенные прямо в поле, набрасывались на саранчу и с яростью давили ее. На помощь бедным колонистам подоспели две роты тюркосов^[34] с горнистом во главе, и истребление приняло другой характер.

Солдаты не давили, а палили саранчу, насыпая порох длинными полосами.

Я устал убивать, меня тошнило от зловония, и я вернулся домой. На самой ферме их было почти столько же. Они проникали сквозь щели в дверях, в окнах, через печные трубы. Ползали по краям деревянных панелей, по уже совершенно изъеденным занавесям, падали, взлетали, карабкались на белые стены, и их огромная тень тянулась за ними, отчего они казались еще уродливей. И всюду стоял этот ужасный смрад. За обедом пришлось обойтись без воды. Цистерны, бассейны, колодцы, садки — все было загажено. Вечером у себя в спальне, несмотря на то, что убито их здесь было множество, я все еще слышал, как они копошились под столами и стульями, как трещали их жесткие крылышки, будто лопались от зноя стручки. Этой ночью я тоже не сомкнул глаз. Да и вокруг никто не «спал». Из конца в конец равнины бежали по земле языки пламени. Тюркосы все еще истребляли саранчу.

Наутро, когда я, как накануне, открыл окно, саранчи уже не было. Но какое она произвела опустошение! Ни цветка, ни травинки: все черно, все изглодано, все обуглилось. Бананы, абрикосы, персиковые, мандариновые деревья можно было узнать только по форме их оголенных сучьев; исчезла прелесть трепетных листьев, оживляющих дерево. Очищали водоемы, цистерны. Земледельцы всюду вскапывали землю, уничтожая яйца, отложенные насекомыми. Каждый комок земли переворачивали, тщательно разрыхляли. И сердце щемило, когда рассыпалась эта плодородная земля и обнажались тысячи белых сочных корней...

Эликсир его преподобия отца Гоше

— Отведайте-ка вот этого, соседюшка, а потом посмотрим, что вы скажете.

И с той же кропотливой тщательностью, с какой шлифовальщик отсчитывает каждую бусину, гравесонский кюре накапал мне на доньшко золотисто-зеленой, жгучей, искристой, чудесной жидкости... Все внутри у меня точно солнцем опалило.

— Это настойка отца Гоше, радость и благополучие нашего Прованса, — сказал почтенный пастырь с торжествующим видом, — ее готовят в монастыре премонстрантов, в двух милях от вашей мельницы... Не правда ли, куда лучше всех шартрезов, вместе взятых?.. Лесли бы вы знали, до чего забавна история этого эликсира! Вот послушайте...

И в простоте душевной, не видя в том ничего дурного, тут же у себя в церковном домике, в столовой, такой светлой и мирной, с картинками, изображающими шествие на Голгофу, с белыми занавесочками, накрахмаленными, как стихари, аббат рассказал мне забавную историю, немножко вольнодумную и непочтительную, вроде сказок Эразма или Ассуси.^[35]

Двадцать лет тому назад премонстранты, или, вернее, *белые отцы*, как прозвали их у нас в Провансе, впали в великую нужду. Если бы вы посмотрели, в какой они тогда жили обители, у вас сжалось бы сердце.



Большая стена, башня св. Пахомия разваливались. Колонки вокруг поросшего травой монастыря дали трещины, каменные святые в нишах свалились. Ни одного целого окна, ни одной исправной двери. На монастырском дворе, в часовнях гулял ронский ветер, словно в Камарге, задувал свечи, сокрушал оконные переплеты, выплескивал воду из кропильницы. Но еще печальнее была монастырская колокольня, безмолвная, как опустевшая голубятня. Отцы, не имея денег на колокол, сзывали к заутрене трещотками из миндального дерева!..

Бедные белые отцы! Я как сейчас вижу их во время крестного хода в праздник тела господня: вот они проходят печальными рядами, в заплатанных рясах, бледные, отощавшие, ибо питались они только

лимонами да арбузами, а позади всех идет настоятель, понуря голову, совестясь показаться при свете дня с посохом, с которого слезла позолота, и в белой шерстяной митре, изъеденной молью. Монахини плакали, а дюжие хоругвеносцы хихикали, указывая на бедных монахов:

— Скворцам никогда не наклеваться досыта, раз они стаями летают.

Так или иначе, но бедные белые отцы дошли до того, что и сами подумывали, не лучше ли им разлететься по всему свету и каждому искать себе пропитание.

И вот однажды, когда этот важный вопрос обсуждался капитулом, настоятелю доложили, что брат Гоше просит выслушать его... Сообщу вам для сведения, что этот самый брат Гоше был в обители пастухом, то есть целыми днями слонялся под монастырскими арками и гонял двух тощих коров, которые щипали траву в щелях между плитами. До двенадцати лет его растила сумасшедшая старуха из Бо по имени тетка Бегон, затем его подобрала монахи, и несчастный пастух так за всю свою жизнь ничему и не научился, разве что пасти коров да читать «Отче наш», да и то на провансальском наречии, потому что соображал он туго и умом не вышел. Впрочем, христианин он был ревностный, хотя и мечтатель, власяницу носил исправно и бичевал себя со всей силой убеждения и рук...

Когда этот бесхитростный простак вошел в залу, где заседал капитул, и поклонился собранию, отставив ногу, все: и настоятель, и каноники, и казначей — покатались со смеху. Стоило ему только появиться, и всюду его добродушная физиономия с козлиной седеющей бородкой и какими-то чудными глазами производила одно и то же впечатление, поэтому брат Гоше несколько не смутился.

— Честные отцы, — начал он добродушным тоном, перебирая четки из маслиновых косточек, — правду говорят люди, что пустая бочка гулче всех звенит. Представьте себе, что, ломая на все лады свою неладную голову, я, кажется, нашел средство всех нас выручить из беды.

И вот как. Все вы знаете тетку Бегон, ту добрую женщину, что кормила меня, пока я был мал. (Царство ей небесное! Она, старая стерва, бывало, как подвыпьет, уж очень срамные песни пела!) Так вот, честные отцы, тетка Бегон, когда в живых была, знала толк в горных травах не хуже, а может, и лучше, чем старый корсиканский дрозд. Вот она и составила перед смертью замечательную настойку, смешав пять или шесть лекарственных трав, которые мы с ней вместе собирали на отрогах Альп. Тому уже много лет, но думаю, что с помощью святого Августина и с соизволения отца-настоятеля я, поразмыслив хорошенько, пожалуй, вспомню, как составить этот чудодейственный эликсир. Тогда останется только разлить его по

бутылкам и продавать подороже, от этого община наша помаленьку разбогатеет, как это было с братьями траппистами и картезианцами...

Ему не дали договорить. Настоятель встал и бросился ему на шею. Каноники жали ему руки. Казначей, растроганный больше всех, почтительно облобызал обтрепанным край его нарамника. Затем каждый сел на свое место, чтобы все обсудить. И на том же собрании капитул порешил поручить коров брату Тразибулу, а брату Гоше дать возможность целиком посвятить себя изготовлению эликсира.

Как достойному брату удалось вспомнить состав настойки тетки Бегон? Ценою каких усилий? Ценою скольких бессонных ночей? Об этом история умалчивает. Достоверно одно: через полгода настойка белых отцов была уже в большом ходу. Во всей Арльской округе, во всей области не существовало ни фермы, ни сарая, где бы в кладовой не была припрятана среди бутылок с вином и кувшинов с оливками коричневая глиняная фляга, запечатанная печатью с гербом Прованса, с изображением монаха в молитвенном экстазе на серебряной этикетке. Благодаря спросу на эликсир монастырь премонстрантов быстро разбогател. Снова возвели башню св. Пахомия. Настоятель приобрел новую митру, церковь украсилась чудесными витражами, а в одно прекрасное утро на пасхе в стройной кружевной колокольне вдруг зазвонит ла и заблаговестила во весь голос целая компания колоколов и колокольчиков.

Что касается брата Гоше, то об этом простоватом послушнике, неотесанности которого так смешила весь капитул, больше в обители не было и речи. Отныне знали только его преподобие отца Гоше, человека великого ума и большой учености; его совершенно не касались мелкие и разнообразные монастырские дела; он весь день проводил, запершись у себя на винокурне, а тридцать монахов в это время бродили по горам, собирая для него пахучие травы... Винокурня, куда ход был заказан даже настоятелю, помещалась в старой, заброшенной часовне, в самом конце монастырского сада. Честные отцы в простоте душевной считали ее местом таинственным и страшным, и когда какому-нибудь молодому монашку, осмелевшему от любопытства, случалось, цепляясь за дикий виноград, вскарабкаться до окошка над порталом, он тут же в испуге скатывался вниз, узрев отца Гоше с длинной, как у чародея, бородой, склонившегося над горнами с ареометром в руке. А вокруг все заставлено было розовыми фаянсовыми ретортами, огромными перегонными кубами, стеклянными змеевиками, причудливо нагроможденными и пылавшими в волшебном красном отблеске витражей...

В сумерки, когда последний раз звонили к вечерней молитве, дверь

таинственной часовни тихонько приотворялась, и отец Гоше шел в церковь к вечерней службе. Вы бы посмотрели, как его встречали в монастыре! Братья выстраивались стеной на его пути. Слышалось:

— Тсс! Он знает секрет!..

Казначей шел за ним следом и, склонив голову, что — то почтительно говорил ему... Обласканный отец Гоше шествовал, утирая пот, сдвинув на затылок широкополую треуголку, ореолом окружавшую его голову, с удовлетворением поглядывая на обширные дворы, обсаженные апельсиновыми деревьями, на синие крыши с новенькими флюгерами, на упитанных монахов в новой одежде, проходивших попарно между изящными резными колонками сиявшей белизной обители.

«Всем этим они обязаны мне!»- думал отец Гоше, и каждый раз эта мысль вызывала в нем приступы гордыни.

Бедняга жестоко за это поплатился. Сейчас сами увидите...

Представьте себе, что как-то вечером, во время службы, он пришел в церковь в необычайном возбуждении: он покраснелся, еле переводил дух, капюшон у него съехал набок, а сам он был так взволнован, что, когда брал святую воду, намочил рукава по самые локти. Сперва братия подумала, что он смущен, так как опоздал к службе, но когда увидели, какие поклоны он отвешивает органу и хорам, вместо того чтобы поклониться алтарю, когда увидели, каким ураганом он пронесся по церкви, как пять минут искал на клиросе свое место и как, сев наконец, начал раскачиваться то направо, то налево, улыбаясь блаженной улыбкой, по всем трем приделам побежал гул удивления. Уткнув нос в молитвенники, монахи перешептывались:

— Что это с отцом Гоше?.. Что это с отцом Гоше?

Два раза настоятель в нетерпении ударил посохом по плитам, чтобы водворить тишину... На клиросе продолжали петь, но в возгласах не было благолепия...

Вдруг в самой середине *Ave verum* о. Гоше откинулся на спинку скамьи и во все горло запел:

Веселый монашек Парижу знаком,
Пататен. пататон. тарабен, та рабом...

Общее смятение. Все встают. Кричат:

— Унесите его!.. Это бесноватый!

Монахи творят крестное знамение. Настоятель без усталости стучит посохом... Но о. Гоше ничего не видит, ничего не слышит. Двум рослым

монахам пришлось вытащить его через дверку на клиросе, а он отбивался, словно одержимый, и знай себе горланил: «Та-ра-ра, тра-ра-ра».

На следующий день, чуть забрезжил свет, бедняга уже стоял на коленях в молельне настоятеля и, обливаясь слезами, каялся.

— Это все эликсир, отец настоятель, эликсир меня попутал, — твердил он, бия себя в грудь.

Видя, как он сокрушается, как он раскаивается, добрый настоятель и сам расчувствовался:

— Успокойтесь, успокойтесь, отец Гоше. Все испарится, как роса на солнце... В конце концов соблазн был не так велик, как вы думаете. Песенка, правда, была не того... гм, гм!.. Будем надеяться, что послушники не расслышали... А теперь расскажите мне, как это с вами приключилось... Вы, верно, отведали ликера? Своя рука — владыка... Да, да, понимаю... То же, что с братом Шварцем,^[36] изобретателем пороха: вы пали жертвой собственного изобретения... Скажите, голубчик: обязательно самому нужно пробовать этот ужасный ликер?

— К сожалению, нужно, отец настоятель... Ареометром можно определить крепость и градус, но чтобы придать напитку окончательный вкус, бархатистость, я доверяю только собственному языку...

— Ну что ж... Теперь послушайте, что я вам скажу... Когда вы по необходимости пробуете эликсир, это вам приятно? Вы испытываете удовольствие?

— Увы, да, отец настоятель, — пробормотал несчастный монах, густо покраснев. — Последние два вечера, когда пробую эликсир, я вдыхаю такой букет, такой аромат!.. Верно, это нечистый меня попутал... И отныне я твердо решил прибегать только к ареометру. Что делать, пускай ликер не будет так вкусен, пускай не будет так густ...

— Боже вас упаси! — поспешно перебил настоятель. — Этак, чего доброго, покупатели будут недовольны... Вам только нужно быть настороже, раз вы уже предупреждены... Скажите: сколько вам надобно, чтобы распробовать? Капель пятнадцать, двадцать, так? Положим, двадцать... Бес должен быть очень лукавым, чтобы одолеть вас при помощи двадцати капель... впрочем, я разрешаю вам не ходить в церковь, а то как бы опять не вышло соблазна. Вечернюю молитву вы можете читать в своей винокурне... А теперь, отче, ступайте с миром и, главное... не сбейтесь со счета капель...

Увы! Хотя бедный о. Гоше и вел счет каплям... дьявол крепко в него вцепился и не отпускал.

Странные молитвы пришлось услышать винокурне!

Днем еще куда ни шло, о. Гоше был довольно спокоен: он готовил жаровни, реторты, тщательно разбирал травы, все травы Прованса, тонкие, серые, кружевные, насквозь пропитанные благоуханием и солнцем... Но вечером, когда травы уже настаивались и жидкость нагревалась в больших медных чанах, начиналась пытка.

Семнадцать... восемнадцать... девятнадцать... двадцать!..

Капли падали из трубки в серебряный кубок. Эти двадцать капель он проглатывал разом, почти без всякого удовольствия. Зато двадцать первая не давала ему покоя. Ох уж эта двадцать первая капля!.. Дабы не впасть в искушение, он становился на колени в самом дальнем углу лаборатории и читал молитвы. Но от не остывшего еще ликера подымался легкий пар, насыщенный ароматом, окутывал его и тянул к чанам... Ликер был чудного золотисто-зеленого цвета... Склонившись над ним, широко раздув ноздри, о. Гоше тихонько помешивал трубкой, и в сверкающих блестках изумрудного потока ему мерещились глаза тетки Бегои. Они смотрели на него, смеясь и подмигивая...

— Ладно! Еще одну каплю!

И, капля за каплей, бокал несчастного монаха наполнялся до краев. Тогда он в изнеможении опускался в глубокое кресло и, разомлев, прищурясь, смаковал свой грех маленькими глоточками, повторяя про себя в сладостном раскаянии:

— Ах, я обрекаю себя на вечную муку!.. На вечную муку!..

Но ужаснее всего то, что, выпив эту дьявольскую настойку, на дне он находил, — уж не скажу вам, каким чудом, — все непристойные песенки тетки Бегон: «Три кумушки попить хотели...» или «Пастушка в лес пошла одна...», и каждый раз — тот самый пресловутый припев белых отцов: «Пататен, пататон, тарабен, тарабом!»

Представляете себе, какой срам, когда наутро соседи по келье говорили ему с лукавым видом:

— Э-хе-хе, отец Гоше! Видно, вчера вечером, когда вы спать укладывались, у вас здорово трещало в голове.

Тогда начинались слезы, отчаяние, пост, власяница и изнурение плоти. Но ничто не помогало против того дьявола, что вселился в эликсир, каждый вечер в тот же час лукавый одолевал его преподобие отца Гоше.

А между тем заказы благодатным дождем падали на аббатство. Они поступали из Нима, Экса, Авиньона, Марселя.... С каждым днем монастырь все больше и больше начинал смахивать на фабрику. Были братья-упаковщики, братья-этикетчики, одни вели переписку, другие ведали отправкой. Правда, богослужение иногда терпело от этого ущерб, не

так ревностно звонили колокола, зато бедный люд в нашем крае не терпел никакого ущерба, можете быть спокойны...

И вот в одно прекрасное воскресное утро, в то время как казначей читал при всем капитуле годовой отчет, а почтенные монахи внимали ему с сияющими глазами и улыбкой на устах, в зал заседаний ворвался о. Гоше, громко крича:

— Довольно!.. Не хочу!.. Отдайте мне моих коров!

— В чем дело, отец Гоше? — спросил настоятель, отчасти догадываясь, в чем тут дело.

— В чем дело, отец настоятель?.. Дело в том, что я сам себе готовлю огонь вечный и вилы... Дело в том, что я пью, пью, как сапожник...

— Так ведь я же вам велел вести счет каплям!

— Тоже сказали! Вести счет каплям! Теперь уже приходится вести счет стаканам. Да, честные отцы, вот до чего я дошел. Три фляги за вечер... Сами понимаете, что так продолжаться не может... Повелите составлять ликер кому вам угодно... Да падет на меня огонь небесный, если я не брошу этого дела!

Теперь капитулу было уже не до смеха.

— Но, несчастный, вы пустите нас по миру! — кричал казначей, размахивая гроссбухом.

— А по-вашему, лучше, чтобы я обрек себя на вечные муки?

Тут поднялся настоятель.

— Отцы! — сказал он, простерши холеную, белую руку, на которой сверкал пастырский перстень. — Есть средство все уладить... Возлюбленное чадо мое! Когда искушает вас нечистый? По вечерам?..

— Да, отец настоятель, аккуратно каждый вечер... И теперь, как только стемнеет, я, с вашего позволения, обливаюсь холодным потом, как осел при виде седла.

— Ну так успокойтесь... Отныне каждую вечернюю службу мы будем читать за ваше спасение молитву святого Августина, дающую полное отпущение грехов... Теперь, что бы ни случилось, вы будете под ее покровом... Она отпускает грехи в самый момент их свершения.

— О, тогда спасибо, отец настоятель!

И без дальних слов о. Гоше легко, точно жаворонок, полетел к своим перегонным кубам.

Действительно, с этого дня каждый раз в конце повечерия священнослужитель возглашал:

— Еще молимся за нашего бедного отца Гоше, душу свою положившего за други своя.

И над белыми рясами, распростертыми во мраке приделов, реяла трепетная молитва, как легкий ветерок над снегом, а в дальнем углу монастыря, за пылающими витражами винокурни, слышался меж тем голос отца Гоше, певшего во всю глотку:

Веселый монашек Парижу знаком,
Пататен, пататон, тарабеп, тарабом.
Пляшет с монашками он,
Тру-ту-ту-ту. у них в саду,
С монашками пляшет он...

Почтенный кюре вдруг в ужасе остановился:
— Господи помилуй! Что, если меня услышат прихожане?

В Камарге^[37]

I. Отъезд

В замке шум и суета. Посланный принес записку от сторожа, нацарапанную наполовину по-французски, наполовину по-провансальски, в которой тот сообщает, что уже два-три раза видел стаи перелетных птиц и что первые птицы уже появились.

«Ждем вас!» — пишут мне мои любезные соседи, и сегодня утром, в пять часов, чуть забрезжил свет, их большой брек, нагруженный ружьями, собаками, провизией, дожидался меня внизу у холма. И вот декабрьским утром, когда бледная зелень олив чуть виднелась, а яркая зелень вечнозеленых дубов казалась чересчур зимней и искусственной, мы покатали по подсохшей, обнажившейся Арльской дороге. В хлевах уже заметно движение. У нас иногда поднимаются до света, и тогда загораются окна на фермах. Среди развалин Монмажурского аббатства, в расщелинах камней, орланы хлопают спросонья крыльями. Навстречу нам уже попадают старые крестьянки, которые гонят на рынок по обочинам дороги своих осликов. Они из Виль-де-Бо. Они делают добрых шесть миль, чтобы посидеть часок на ступенях церкви св. Трофима и продать пучки целебных трав, собранных в горах...

Вот и стены Арля — стены низкие и зубчатые, как на старинных гравюрах, где воины, вооруженные копьями, появляются на вершине вала меньшего размера, чем они сами. Мы быстро проезжаем этот чудесный городок, один из самых живописных во всей Франции. Лепные закругленные балкончики, словно решетчатые ширмы, выступают до середины узеньких улиц, темные старинные дома с мавританскими дверцами, низкими и стрельчатыми, переносят вас в эпоху Гийома Коротконосого^[38] и сарацинов. В этот ранний час на улицах никого не видно. Оживленно только на набережной Роны. Пароходик, обслуживающий Камаргу, разводит пары у схода пристани. Вместе с нами на палубу поднимаются фермеры в рыжих шерстяных куртках, девушки из Ла-Рокет, которые едут наниматься на фермы; они болтают и пересмеиваются. Утро свежее, и они с головой накрылись длинными коричневыми накидками, из-под которых глядят головки, кажущиеся

маленькими и нарядными от высокой арлезианской прически, глядят чуть задорно, словно сейчас высунутся из-под капюшона, громче расхохочутся, отпустят шутку повеселей... Колокол звонит, мы отваливаем. Оба берега плывут мимо с утроенной скоростью — Роны, винта и мистраля. По одну руку Кро — бесплодная каменистая равнина, по другую — более зеленая Камарга с низкой травой и поросшими тростником болотами, которые тянутся до самого моря.

Время от времени пароход останавливается у пристани, слева или справа, «то в империи, то в королевстве», как говорили в средние века, во времена Арльского королевства,^[39] и как говорят по сию пору старые ронские матросы. У каждой пристани белеет среди деревьев ферма. С пароходика сходят работники с инструментами, женщины с корзиной на руке чинно идут по сходням. Понемногу, останавливаясь «то в империи, то в королевстве», пароход пустеет, и когда он доходит до пристани Мас-де-Жиро, где нам выходить, на борту почти никого уже нет.

Мас-де-Жиро — старинная ферма господ де Барбантан. Там мы будем дожидаться сторожа, который должен заехать за нами. За столом в высокой кухне сидит все мужское население фермы: землепашцы, виноделы, пастухи, подпаски; они медленно жуют, молча, сосредоточенно, а женщины, которые обычно едят после, прислуживают. Вскоре появляется сторож в своей одноколке. Настоящий герой Фенимора Купера, охотник на воде и на суше, охраняющий от браконьеров дичь и рыбу... Местные жители зовут его *лурудеиру* (бродяга), потому что его привыкли видеть на рассвете и в сумерках, когда встает туман, притаившимся в камышах или же застывшим в своей утлой лодочке, проверяющим верши на *клер* (озерках) или на *рубин* (оросительных каналах). Возможно, что он стал таким молчаливым, таким сосредоточенным именно потому, что по самому своему ремеслу вечно должен кого-нибудь подстергать. Все же, пока мы идем за одноколкой, груженной ружьями и корзинами, он сообщает нам все охотничьи новости — называет количество прилетевших стай, места, где осели перелетные птицы. Разговаривая, мы подвигаемся вперед.

Возделанные поля кончились, вот мы и в самом сердце Камарги. Куда ни глянешь — среди пастбищ, среди болот, — поблескивают в траве каналы. Кусты тамариска и тростник кажутся островками на спокойном море. Высоких деревьев совсем нет. Создается впечатление ровной, безбрежной глади. Кое-где, почти вровень с землей, видны низкие кровли загонов для скота. Разбросанные там и сям стада лежат в солончаковой траве или медленно бредут, сгрудившись вокруг бурого плаща пастуха, не нарушая однообразия равнины, — они теряются в этих синеющих

просторах под широким куполом неба. Как от моря, несмотря на его волны, от этой долины веет одиночеством, необъятностью! И чувство это еще усиливается от мистралья, который дует неустанно, беспрепятственно и своим мощным дыханием словно еще сглаживает, расширяет пейзаж. Все склоняется перед ним. Даже на кустиках сказываются его порывы: они изогнулись, они стелются по земле, они как бы вечно бегут к югу.

II. ХИЖИНА

Крыша из тростника, стены из тростника, желтого и высохшего, — вот она, хижина. Так называется место сбора охотников. Хижина — типичный камаргский домик — состоит из одной-единственной высокой, просторной комнаты без окон; она освещается через застекленную дверь, которая на ночь наглухо закрывается ставнями. Вдоль обмазанных известкой и выбеленных стен козлы для ружей, ягдташи, болотные сапоги. В дальнем углу комнаты, вокруг настоящей мачты, вбитой в землю и подпирающей крышу, подвешены пять-шесть коек. Ночью, когда дует мистраль и дом трещит по всем швам, когда ветер приближает к нам далекое море, донося его гул, непрерывно усиливая его, кажется, будто лежишь в каюте.

Но особенно хороша хижина после полудня. В погожие дни нашей южной зимы я люблю сидеть один у очага, где тлеет несколько тамарисковых поленьев. От порывов мистралья или трамонтаны дверь хлопает, тростник скрипит, но все эти толчки — только слабый отголосок великого смятения природы вокруг меня. Сильные порывы ветра налетают на зимнее солнце, треплют, рассеивают и вновь соединяют его лучи. Бегут огромные тени при чудесном голубом небе. Свет налетает порывами, шум тоже, и колокольцы стад, вдруг донесшиеся и уже позабытые, затерявшиеся в шуме ветра, снова волшебным припевом звучат за дрожащей дверью... Лучшее время — это сумерки, незадолго до возвращения охотников. Ветер улегся, я выхожу на минуту. Мирно садится огромное красное солнце, пылающее, но не знойное. Ночь наступает, касается меня своим черным влажным крылом. Вдали по земле блестящей красной звездой пробегает огонек выстрела, особенно яркий в окружающей тьме. Все живущее торопится воспользоваться последним светом. Длинным косяком тянутся утки, низко-низко, словно собираются сесть, но хижина, где горит огонь, их внезапно пугает. Вожак вытягивает шею, подымается выше, и все остальные с дикими криками взлетают вверх.

Вскоре приближается громкий шум, словно полил дождь: стада

баранов пугливо, беспорядочно теснятся к загонам, подгоняемые окриками пастухов и неугомонными собаками, суетливая беготня и прерывистое дыхание которых долетают до меня. Я чувствую, как меня подхватывает, захлестывает, затягивает этот водоворот курчавых рун и бляеня. Совсем как прибой, уносящий на вздымающихся волнах пастухов и их тени... Вот за стадами слышатся знакомые шаги, веселые голоса. В хижине тесно, оживление, шум. Пылают сухие виноградные лозы. Чем больше утомления, тем больше смеха. Какое — то опьянение блаженной усталостью. Ружья составлены в угол, болотные сапоги брошены куда попало, из ягдташей все вынуто, рядом с ними пестреют рыжие, золотистые, зеленые, серебристые перья, забрызганные кровью. Стол накрыт; от вкусной ухи из угрей идет пар. Воцаряется молчание, великое молчание разыгравшегося аппетита, прерываемое только яростным ворчаньем собак, которые в темноте за дверью лакают из своих мисок.

Сумерничать долго не будем. У огня, мигающего и тоже сонного, остаемся только мы вдвоем со сторожем. Мы беседуем, то есть перебрасываемся время от времени отрывистыми словами, на крестьянский лад, какими-то почти индейскими междометиями, короткими и тут же угасающими, словно последние искры догорающих лоз. Наконец сторож встает, зажигает фонарь, и я прислушиваюсь к его тяжелым шагам, которые теряются в ночи...

III. НА ТЯГЕ (Ожидание)

Тяга! Какое удачное слово для того, чтобы обозначить ожидание насторожившегося, притаившегося охотника и те промежуточные тягучие часы, когда все ждет, все тянется, когда и день и ночь еще медлят! Поджидание утра чуть пораньше восхода солнца, поджидание вечера в сумерки... Я предпочитаю второе, особенно в здешних болотистых местах, где свет так долго не хочет расставаться с озерами...

Иногда поджидаешь птицу в *негошсне* (челноке), в неустойчивой узкой лодчонке без киля. Охотник подстерегает уток в тростниках, притаясь в челноке, над краем которого выступают только козырек фуражки, дуло ружья и голова собаки. Собака принюхивается, ловит на Лету комаров, а иногда вытягивает длинные лапы, и тогда лодка кренится набок и наполняется водой. При моей неопытности этот способ слишком сложен. Поэтому я чаще хожу на тягу пешком, хлюпая по болотам в огромных сапожищах, выкроенных во всю длину кожи. Я ступаю медленно,

осторожно, боясь увязнуть. Раздвигаю тростники, насыщенные соленым запахом и кишацие лягушками...

Вот наконец островок тамарисков, клочок сухой земли, там я и устраиваюсь. Сторож из уважения ко мне отпустил со мной свою собаку, огромного пиренейского пса с длинной белой шерстью, перворазрядного охотника и рыболова, присутствие которого меня как-то стесняет. Когда на расстоянии выстрела пролетает болотная курочка, он насмешливо поглядывает на меня, взмахом головы, совсем как артист, откидывая назад длинные плоские уши, свисающие ему на глаза; затем делает стойку, виляет хвостом, всей своей мимикой изображая нетерпение и как бы говоря:

— Да стреляй же!.. Стреляй!

Я стреляю — промах. Тогда он ложится, зевает и потягивается со скучающим, разочарованным и наглым видом...

Ну что ж! Согласен, я плохой охотник. Тяга для меня — это уходящий день, гаснущий свет на воде, поблескивающие озерки, в которых серебром отливает отражение серого, потемневшего неба. Я люблю запах воды, таинственный шорох насекомых в тростниках, тихий ропот трепетных длинных листьев. Порой прозвучит и замрет в небе печальный звук, словно гул морской раковины. Это выпь погружает в воду огромный свой клюв птицы-рыболова и кричит: «Ррруу!..» Над головой у меня тянут стаи журавлей. Я слышу свист перьев, шелест пуха в свежем воздухе, даже легкое потрескивание усталых крыльев. Потом ни звука, полная тьма, только блески света, задержавшегося на воде...

Вдруг я вздрагиваю, чувствую какую-то неловкость, словно кто-то стоит у меня за спиной. Оборачиваюсь и вижу спутницу прекрасных ночей — луну, полную, круглую луну, которая тихо всходит, вначале поднимаясь очень заметно, но по мере удаления от горизонта замедляя свой ход.

Первый луч уже лег около меня, — вот, подальше — другой!.. Вот осветилось все болото. От каждой травинки падает тень. Тяга кончена, птица видит охотника, пора домой. Идешь, залитый голубым легким, рассеянным светом, и от каждого шага в озерах и каналах трепещут упавшие туда звезды и лунные лучи, до самого дна пронизывающие воду.

IV. КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ

Совсем около нас, на расстоянии выстрела от хижины, есть другая похожая хижина, но еще более примитивная с виду. Там живет наш сторож

с женой и двумя старшими детьми. Дочь готовит обед, чинит сети, сын помогает отцу ставить верши, присматривает за *мартильерами* (шлюзами) на прудах. Двое меньших — в Арле, у бабушки. Там они пробудут до тех пор, пока не научатся читать и не пойдут к *бонжуру* (первому причастию), потому что отсюда далеко до церкви и школы, а потом камаргский воздух для малышей не полезен. Дело в том, что летом, когда болота высыхают и белая тина на дне каналов трескается от жары, этот остров действительно необитаем.

Как-то в августе я сам в этом убедился, когда приехал сюда поохотиться, и мне никогда не забыть этот печальный и дикий пейзаж, опаленный зноем. Там и сям, словно огромные чаны, курились на солнце пруды, дно которых кишело еще остатками жизни: ища влаги, там копошились саламандры, пауки, водяные мухи. Вокруг стоял смрад, тяжелая мгла, насыщенная вредными испарениями, казавшаяся еще плотнее от роя комаров. У сторожа всю семью знобило, всю семью трепала лихорадка, жалость брала смотреть на желтые, исхудавшие лица, на ввалившиеся огромные Глаза этих несчастных людей, обреченных в течение трех месяцев томиться под палящим, неумолимым солнцем, которое обжигает, но не согревает больных лихорадкой.» Печальна и трудна жизнь егеря в Камарге! У нашего сторожа жена и дети при нем, но в двух милях отсюда живет в заболоченной местности табунщик, живет круглый год совершенно один, как настоящий Робинзон. В тростниковой хижине* которую он сам построил, нет ни одной несамодельной вещи, начиная с плетеного ивового гамака, очага, сложенного из трех почерневших камней, скамеек, сколоченных из тамарисковых стволов, вплоть до деревянного замка с ключом, которым он замыкает свое оригинальное жильё.

Сам он столь же необычен, как и его жилище. Это, как и все отшельники, своего рода молчаливый философ, прячущий свое недоверие крестьянина под густыми, нависшими бровями. Он или на пастбище, или сидит на пороге и с трогательным ребяческим усердием читает по складам розовые, голубые или желтые листочки, обычно приложенные к пувырькам с лекарством, которым он пользуется своих лошадей. У бедняги нет других развлечений, кроме чтения, нет других книг, кроме этих листков. Наш сторож и он не видятся, хоть и живут по соседству. Они даже стараются не встречаться. Раз я спросил Бродягу о причине такой нелюбви, и он ответил мне самым серьезным тоном:

— Все из-за разницы в убеждениях... Он красный, а я белый.

Итак, даже в здешней пустыне, где их должно было бы сблизить

одинокость, эти два дикаря, оба одинаково невежественные и недалекие, эти два Феокритова волопаса, попадающие в город раз в год, не чаще, и глазающие на позолоту и зеркала арльских скромных кофеен, словно перед ними Птолемеев дворец, ухитрились возненавидеть друг друга из-за политических убеждений.

V. ВАККАРЕС

Во всей Камарге нет ничего прекрасней Ваккареса! Часто, позабыв об охоте, я усаживался на берегу этого соленого озера, которое кажется куском моря, замкнутым в берега и умиротворенным именно в силу своего пленения. Вместо обычной сухости и бесплодия, от которых здешние места так печальны, вокруг Ваккареса, на его чуть приподнятых берегах, зеленеющих мягкой бархатистой травой, такая необычайная и прелестная флора: васильки, водяной трилистник, горечавка и очаровательная саладель, синяя в зимнюю пору, красная в летнюю, цветущая круглый год и меняющая оттенки вместе с погодой, отмечая таким образом времена года различной окраской.

К пяти часам вечера, когда солнце клонится к закату, это водное пространство, протянувшееся на три мили, великолепно — ни единой лодки, ни единого паруса, ничто не ограничивает, не нарушает простора. Это не ласковое очарование озерков и каналов, мелькающих то здесь, то там на кочковатой болотистой почве, под которой всюду чувствуется просачивающаяся вода, — стоит надавить посильней, и она выступит на поверхность. Ваккарес создает впечатление величия, широты.

Блеск волн издали привлекает стаи уток, цапель, выпей, белобрюхих розовокрылых фламинго. Они выстраиваются для рыбной ловли вдоль берега, образуя длинную ровную ленту разнообразной окраски. Тут есть даже ибисы, подлинные египетские ибисы, чувствующие себя как дома под здешним ярким солнцем, среди здешней безмолвной природы. С моего места мне ничего не слышно — только плеск воды да голос табунщика, сзывающего лошадей, разбредшихся по берегу. У всех у них звучные клички: Цифер!.. (Люцифер.) Эстелло!.. Эстурнелло!.. Лошадь, услышав зов, бежит к сторожу, распутив по ветру гриву, и ест овес из его рук.

Подальше, все на том же берегу, большое *манато* (стадо) быков, пасущихся на воле, как и лошади. Порой над тамарисковыми кустами мелькнет выгнутая спина или встанут небольшие рога полумесяцем. Быки

выращиваются преимущественно для состязания на *феррадах*, деревенских праздниках, и имена некоторых пользуются громкой славой на всех аренах Прованса и Лангедока. Так, например, в соседнем манадо есть страшный боец по прозвищу Римлянин, который поднял на рога много людей и лошадей на арльских, нимских и тарасконских состязаниях. За это, верно, товарищи избрали его вожаком — в этих необычных стадах существует самоуправление, животные собираются вокруг старого быка, которого они признали вожаком. Вы бы видели, как стадо жметя к вожаку, когда на Камаргу налетает ураган, страшный в этой безграничной равнине, где ему нет ни удержу, ни препоны, как все быки наклоняют головы, подставляют ветру свои широкие лбы, в которых сосредоточена вся их сила! Наши провансальские пастухи называют это: *vira la bano au gisclé* — подставить рога ветру. И горе стаду, если оно этого не сделает! Дождь слепит, вихрь гонит, расстроившееся манадо вертится во все стороны, быки с перепугу бегут куда глаза глядят, только бы спастись от бури, и устремляются в Рону, в Ваккарес или в море.

Тоска по казарме

Сегодня утром, чуть рассвело, меня разбудил громкий бой барабана. Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам!..

Барабан здесь, среди сосен, в такой ранний час!.. Странное дело!

Я быстрехонько спрыгнул с кровати и побежал к дверям.

Никого! Дробь замолкла... С дикого винограда, мокрого от росы, слетают, отряхнув крылышки, два-три кулика... В деревьях поет ветерок... На востоке гребни отрогов Альп запорошены золотой пылью, из которой медленно встает солнце... Первый луч уже коснулся крыши моей мельницы. В эту минуту глухо забил невидимый барабан... Трам... тара-рам! Трам... тара-рам!

Черт побери эту ослиную шкуру! Я совсем позабыл о ней! Но что же это за дикарь приветствует зарю в чаще леса барабанным боем!.. Сколько я ни смотрю, ничего не видать... Ничего, только кусты лаванды и сосны, сбегавшие вниз до самой дороги... Уж не лесной ли эльф притаился в зарослях и дразнит меня?.. Верно, это Ариэль^[40] или дядя Пек. Плутишка, должно быть, подумал, проходя мимо мельницы:

«Слишком уж спокойно живется здесь парижанину, дай-ка я закачу ему утреннюю серенаду».

Потом, видно, взял большущий барабан, и — трам... тара... рам! Трам... тара... рам!.. Да уймешься ли ты в конце концов, негодник Пек? Ты перебудешь мне всех цикад.

Это оказался не Пек.

Это оказался Гуге Франсуа, по прозвищу Пистолет, барабанщик 31-го пехотного полка, в данное время находившийся в очередном полугодовом отпуску. Пистолету в деревне скучно, барабанщик тоскует, и когда ему разрешают взять общинный барабан, он удаляется в лес и выбивает дробь, предаваясь меланхоличным мечтам о казарме принца Евгения.

Сегодня он решил помечтать на моем зеленом холме... Вот он стоит, прислонившись к сосне, зажав коленями барабан, и наслаждается... Из-под его ног вылетают выводки вспугнутых куропаток — он их не замечает. Вокруг благоухает тимьян, он ничего не чувствует.

Он не видит ни тонких паутинок, трепещущих на солнышке между веток, ни сосновых игл, прыгающих по барабану. Весь отдавшись мечтам и музыке, он любовно смотрит на взлетающие палочки, и от звуков барабанной дроби его широкое придурковатое лицо расплывается в

блаженной улыбке.

Трам-та-рарам! Трам-та-рарам!..

«Как прекрасно в казарме! Вымощенный широкими плитами двор, правильные ряды окон, форменные фуражки и низкие своды, где звон стоит от солдатских котелков!..»

Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам!..

«О гулкая лестница, выбеленные коридоры! Запах общей спальни, начищенные портупей, хлебная полка, банки с ваксой, железные койки под серыми одеялами, ружья, поблескивающие в козлах!»

Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам!

«О приятные дни в кордегардии, карты, липнущие к пальцам, уродливая пиковая дама, разрисованная пером, растрепанный роман Пиго-Лебрена, валяющийся на походной койке...»

Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам!

«О долгие ночи на часах у дверей министерств, ветхая будка, где течет крыша, где зябнут ноги!.. Роскошные экипажи обдают тебя грязью!.. О добавочные наряды в день ареста, вонючая параша, доска вместо подушки, зоря в холодное дождливое утро, зоря в сумерки, когда зажигается газ, переключка, на которую спешишь, высунув язык!..»

Трам-та-ра-рам! Трам-та-ра-рам!

«О Венсенский лес, грубые нитяные белые перчатки, прогулки вдоль вала!.. О застава Военного училища, солдатские девки, музыка, кутеж в притоне, дружеские излияния, прерываемые икотой, обнаженный тесак, «жестокый романс, пропетый с прижатыми к сердцу руками!».

Мечтай, мечтай, бедняга! Я не стану тебе мешать... Смелей бей в барабан, бей не покладая рук! Не мне смеяться над тобой.

Ты тоскуешь по своей казарме, а разве я не тоскую по своей?

Мой Париж и здесь преследует меня, как тебя преследует твой Париж. Ты под соснами бьешь в барабан, а я — пишу... Нечего сказать, хороши провансальцы! В парижских казармах мы грустили о синеватых отрогах Альп, о терпком запахе лаванды, а здесь, в сердце Прованса, нам недостает казармы, и все, что ее напоминает, дорого нашему сердцу...

В деревне пробило восемь часов. Пистолет, не выпуская из рук палочек, отправился в обратный путь... Слышно, как он спускается лесом, не прекращая барабанной дроби... А я, больной от тоски, лежу в траве, и мне чудится, будто под удаляющийся барабанный бой в сосновом лесу дефилирует мой милый Париж...

Ах, Париж!.. Париж... Всегда и всюду Париж!

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Жемап — деревня в Бельгии, где 5 ноября 1792 года французские революционные войска разбили австрийцев. Штаб командовавшего французами генерала Дюмурье находился на мельнице.

2

римский император, правивший несколько месяцев в 69 году н. в.

3

провансальский танец; танцующие берутся за руки и движутся длинной цепочкой.

4

поэт XV века, персонаж романа Гюго «Собор Парижской богородицы». Его образ служил Дюма воплощением «поэтического легкомыслия».

Бребан — парижский ресторатор; в его заведении устраивали свои традиционные «обеды пяти» Доде, Золя, Флобер, Эдмон Гонкур и Тургенев.

6

намек на роман Гюго «Собор Парижской богородицы».

Все эти подробности народной астрономии заимствованы из «Провансальского календаря», выходящего в Авиньоне.(Прим. автора.)

Цирк в Арле, построенный древними римлянами; в нем до наших дней устраиваются массовые зрелища.

С 1305 по 1378 год папский престол был перенесен из Рима в Авиньон, так как в этот период папы находились в зависимости от французских королей.

Ивето — городок близ Руана. Беранже, используя фольклор, написал песню «Король Ивето» (1813), в которой создал образ веселого и беззаботного правителя-кутилы. По аналогии Доде называет и своего героя «папой из Ивето». Жаннетон — возлюбленная короля Ивето.

Королева Иоанна (1326–1360, правила с 1343 года) — королева Сицилии и Неаполя; продала папам город Авиньон за 80 тысяч флоринов; будучи изгнана из Неаполя за мужеубийство, вернула себе престол с помощью папы.

лицо, которое при решении вопроса о сопричислении кого-либо к лику святых обязано было выставлять аргументы против канонизации и доказывать, что совершенные будущим «святым» чудеса недействительны.

Монахи-флагелланты — члены общин «самобичующихся братьев».

нефтяная лампа с насосом, изобретенная в 1800 году часовщиком Бертраном Карселем (1750–1812).

Деметрий Фалерский (около 350–283 г. до и. э.) — греческий философ; был некоторое время правителем Дфин. Доде допускает ошибку: у Плутарха нет жизнеописания Деиетрня Фалерского, но есть жизнеописание его современника, полководца Деметрия Полноркета.

то есть для армии, осаждавшей Севастополь.

Матерь божья (итал.).

распространенный в средние века в городах Франции жанр — стихотворный рассказ сатирического или анекдотического характера.

Согласно Евангелию, Христос предсказал апостолу Петру, что тот отречется от него еще до того, как пропоет петух; предсказание Христа «сбылось».

персонаж романа французского писателя Готье де ла Кальпренеда (1610–1663) «Клеопатра» (1657–1658); имя его стало нарицательным для обозначения гордеца.

Руманиль, Жозеф (1818–1891) — провансальский поэт и прозаик из группы фелибров.

Седен, Мишель-Жан (1719–1797) — французский поэт, автор песен, комедий и оперных либретто.

Карикатурист Биксиу — один из персонажей «Человеческой комедии» Бальзака. Доде как бы дорисовал этот образ.

Де Жирарден, Эмиль (1806–1881) — знаменитый парижский журналист и делец, владелец влиятельных газет «Ла Пресс» и «Либерте».

Шарль Барбара (1822–1866) — французский литератор; после трагической смерти жены и дочери заболел нервной горячкой и в припадке безумия выбросился из окна больницы.

старинный духовой инструмент.

Мирейль — героиня одноименной поэмы Мистраля (1859); здесь имеется в виду приезд Мистраля в Париж после шумного успеха этой поэмы.

индеец из племени, жившего на юго-западе нынешней территории США.

Эбер, Антуан-Огюст-Эрнест (1817–1908) — французский художник академического направления.

Этьен Каржа (1828–1906) — французский карикатурист, с 1860 года — владелец модного фотоателье в Париже.

Феокрит (III в. до и. э.) — греческий поэт, создатель жанра буколики — пастушеской идиллии, которая в его творчестве лишена литературной условности и полна жизни.

Dominus vobiscum (благословение господне на вас) — один из заключительных возгласов священника в католическом богослужении; *Benedicite* (благослови) — начало молитвы перед трапезой.

Отойди оу меня, Сатана! (лаг.).

Тюркосы — французские войска, формировавшие из жителей Северной Африки.

Имеются в виду «Беседы» Эразма Роттердамского — сборник сатирических диалогов (1516) и юмористические произведения в прозе и стихах французского писателя Шарля Куапо д'Ассуси (1605–1675), собранные затем в книгу «Смешные похождения Ассуси» (1678).

Легендарный монах Бертольд Шварц, по преданию, погиб от взрыва изобретенного им пороха, который он толоч в ступе.

болотистая равнина, расположенная между двумя основными рукавами дельты Роны.

герой рыцарской поэмы XIII века; вассал Карла Великого, отвоевавший у сарацин город Ораиж, близ Авиньона.

существовало с 879 года до середины XI века, затем распалось на ряд феодальных владений.

светлый дух, персонаж «Бури» Шекспира; Пек — проказник-эльф, персонаж «Сна в летнюю ночь»,